

18+

Дмитрий Колесниченко

НЕПРОСТЫЕ ДЕТИ

ДРУГОЙ БЕРЕГ



Дмитрий Колесниченко

Непростые дети. Другой берег

Колесниченко Д.

Непростые дети. Другой берег / Д. Колесниченко —

Две сестры. Одна видит прошлое, вторая слышит чужие мысли как радио. Отец, который знает правду и молчит, и мать, которая держит семью силой любви. Москва начала 2000-х, страна в которой экстрасенсы продают чудеса и выступают по телевидению. Первая влюблённость, школьные будни наблюдательные учителя и подруги — и ежедневный подвиг притворяться обычной, когда ты точно знаешь ответ на вопрос, которого ещё не задали. Мир, в котором быть настоящей опаснее, чем быть фальшивой.

Содержание

Глава 1. Новый отсчёт	8
Глава 2. Беспронимчивый	22
Глава 3. Серые мышки	37
Глава 4. Сердце не спрашивает	51
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Непростые дети. Другой берег

Дмитрий Колесниченко

Иллюстрации gpt-image-1.5

© Дмитрий Колесниченко, 2026

ISBN 978-5-0069-8644-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero



От автора

Эта история началась с тишины.

Не с той, что бывает, когда в комнате просто перестают говорить. А с другой – той, что приходит в момент, когда вдруг понимаешь: человек напротив знает о тебе больше, чем ты сам, и молчит не потому, что ему нечего сказать, а потому, что одно сказанное слово изменит всё.

Первая книга была о пробуждении. О семье, которая поняла: её дети – *другие*, и решила не отдавать их миру, который ещё не готов. Спрятать. Защитить. Стать крепостью.

Но дети растут. И крепости тоже.

Вторая книга – о том, что происходит, когда стены, построенные на десять лет, начинают жать. Когда дочери вырастают и хотят не только прятаться, но и *понять* себя, свой дар, свою цену. Когда мальчик пишет стихи, а ты слышишь, что он думает на самом деле. Когда касаешься музейной иконы и произносишь вслух то, чего нет ни в одном каталоге. Когда по всей стране чудеса продают по три тысячи за сеанс, а ты настоящая – и именно поэтому тебе нельзя.

Это книга о Москве двухтысячных: о полифонических рингтонах, живых журналах, латте за сто двадцать рублей и «Битве экстрасенсов» в прайм-тайм. О времени, когда мир начал сжиматься – камеры в каждом кармане, следы в каждом блоге – и тем, кто живёт тайной, воздуха стало меньше.

Но прежде всего это книга о семье. О муже, который знает будущее и откладывает деньги «на всякий случай». О жене, которая держит всё вместе без единой сверхъестественной способности – одной любовью и железной волей. О старшей дочери, нашедшей щит в философии, и о младшей, спрятавшейся в стихах. О пельменях, которые подгорают, пока телепатка уже предупреждает маму. О подруге, которая два года вела список странностей и однажды задала вопрос, на который нельзя ответить. И о другом берегу – далёком, туманном, пахнущем вереском и морем, – где, может быть, *быть собой* наконец перестанет быть опасным.

Семья Голубевых не выбирала свои дары. Но она выбрала друг друга.

Иногда этого достаточно. Иногда – нет. Откройте и всё узнаете.

Глава 1. Новый отсчёт

Каждый момент жизни создан вашими же мыслями.



Клёны горели.

Не метафорически, не книжно – по-настоящему: каждый лист был отдельным огоньком, рыжим, алым, медно-жёлтым, и все вместе они складывались в тихий пожар, от которого не хотелось спасаться. Тая стояла у окна босиком, прижавшись лбом к стеклу, и смотрела на парк через дорогу – на газон, засыпанный листьями, мокрыми после ночного дождя, на лавочку с облупившейся зелёной краской, на бабушку в бордовом берете, которая выгуливала таксу, и такса тянула поводок к луже с таким отчаянием, словно в этой луже скрывался смысл её маленькой собачьей жизни.

Воскресное утро, начало октября. Москва пахла дымом от первых костров – кто-то во дворах жёг листву, несмотря на запреты, – и мокрой землёй, и чем-то ещё, чему нет названия: остывающим летом, наверное, или надвигающимся ноябрём. Свет лежал на крышах длинными прозрачными полосами, косой и ленивый, как бывает только в октябре, когда солнце уже

не старается, а просто присутствует, и каждая капля на перилах балкона вспыхивала крошечным фонарём – и гасла, стоило моргнуть.

Тая смотрела на всё это просто глазами.

Без видений. Без вспышек чужих историй, прилетающих через пальцы, через подошвы, через случайно задетый чужой локоть в метро. Без прозрачных наслоений прошлого, которые превращали любой предмет в кинотеатр, где показывали фильм, на который ты не покупала билет. Просто четырнадцатилетняя девочка у окна, в растянутой домашней футболке и папиных шерстяных носках. Просто осень.

Бывают минуты, думала Тая, когда мир красив настолько, что дар в нём лишний. Когда всё и так кричит – цветом, светом, движением таксы к луже, – и добавлять к этому нечего. Эйнштейн говорил: есть два способа прожить жизнь – будто чудес не существует или будто кругом одни чудеса. В такое утро второй способ не требовал никаких усилий.

Потом из кухни раздался грохот: Таня уронила кружку, судя по звуку, ту самую, с надписью «Лучшей маме на свете», подаренную на восьмое марта, – и минута кончилась, как кончаются все минуты: без предупреждения, без титров, щелчком, после которого ты снова внутри обычного дня.

Тая отошла от окна, сунула руки в карманы – привычка, которая за последний год стала второй натурой, – и пошла узнавать, уцелела ли кружка, и если нет, то будет ли мама расстроена или делает вид, что не расстроена, что гораздо хуже.

* * *

Кружка уцелела. Мама – тоже.

Катя сидела за кухонным столом над стопкой документов, придерживая волосы заколкой-крабом, которая вечно сползала на затылок, и пила остывший кофе из другой кружки – белой, безмянной, купленной в «Ашане» за девятнадцать рублей. Перед ней лежала раскрытая папка, и по тому, как мама водила ручкой по полям, подчёркивая и ставя восклицательные знаки, Тая поняла: дело сложное, но интересное, из тех, которые мама называла «с изюминой».

– Доброе утро, – сказала Тая, обходя Таню, которая собирала с пола осколки не кружки, а блюдца (значит, мамина кружка пережила ещё одно воскресенье), и заглянула в папку через плечо. – Арбитраж?

– Не подглядывай, – Катя закрыла папку ладонью, но не сердито, а по привычке. – И да, арбитраж. Твой отец взялся за ООО «Стройинвест», и там такое... – она осеклась, посмотрела на дочерей и закончила нейтрально: – В общем, там нужна хорошая доказательная база.

– Ты сейчас прямо как папа, – заметила Тая, ссылая осколки в мусорное ведро. – «Доказательная база». Вы скоро начнёте фразы друг за друга заканчивать.

– Мы уже начали, – Катя отпила кофе и поморщилась: совсем остыл. – Лет десять назад.

За последний год их с Димой связка превратилась в нечто, чему Катя не могла подобрать слова – или, точнее, могла, но все слова казались слишком громкими. Они работали как часовой механизм: Катя держала бумаги, клиентов и повседневный шум, Дима – тот странный внутренний ритм, по которому он безошибочно выбирал дела. Со стороны это выглядело как опыт, талант и удача, а на деле было знание, которое не спрашивает разрешения.

Дима брал всё более крупные дела и ни одного не проигрывал, потому что брался только за те, где победа была неизбежна. В юридических кругах уже ходила шутка: «Голубев не адвокат – Голубев пророк в галстук». Дима на эту шутку улыбался так, как улыбается фокусник, когда зрители пытаются угадать, в каком рукаве спрятан кролик.

Сам он появился на кухне через полчаса – выбритый, в воскресной рубашке с расстёгнутым воротом, с зелёной тетрадью под мышкой. Тетрадь была четвёртой по счёту с девяносто первого года: обложка уже потёрта, хотя начата в прошлом году, углы загнулись, на корешке – пятно от кофе, похожее на карту несуществующего острова. Дима положил её на холодиль-

ник – всегда на холодильник, – налил себе чаю, поцеловал Катю в макушку и сел напротив, пододвинув к себе сахарницу.

– Суд удаляется на совещание, – сообщил он, имея в виду, что после чая закроется в кабинете и будет думать.

– Завтрак, – ответила Катя тоном, не терпящим апелляций. – Потом совещание.

– Принимается, – Дима поднял кружку, как судья – молоток.

– Ты опять всё тащишь на себе, да?

– Не всё. Только то, что имеет привычку взрываться, если его оставить без присмотра.

– Утешил. Я уже почти расслабилась.

– Катя, у нас дом, а не склад с порохом.

– Иногда по ощущениям – именно склад.

– Тогда тем более хорошо, что я рядом.

– Рядом ты всегда. Вопрос в том, с чем именно.

– С тем, что не люблю отдавать чужим рукам.

– Это ты сейчас про дело или про девочек?

– Я сейчас, как видишь, про всё сразу.

– Вот это у тебя и называется «без паники»?

– У меня это называется «работает».

– Ненавижу твоё «работает».

– Знаю. Но оно держит.

Тая наблюдала за ними от дверного косяка, привалившись плечом к стене. Руки – в карманах. Лёгкая улыбка, которую посторонний принял бы за рассеянность, а на самом деле – за внимание, острое и бережное одновременно. Она любила эти воскресные утра, когда семья была в сборе, когда мир за окном горел рыжим, а мир внутри пах кофе и хлебными тостами, и никто никуда не торопился, и ничего не болело.

Таня, проходя мимо сестры, коснулась её локтя – коротко, как знак: раскрытая ладонь внизу, у бедра, невидимая для родителей. «Нормально». Тая ответила тем же.

* * *

Москва была не Тольятти – это Тая поняла окончательно через три недели после начала учебного года, когда учительница истории Маргарита Павловна вызвала её к доске и попросила рассказать о причинах русско-японской войны.

Тая рассказала – и в целом всё бы сошло за обычный ответ, если бы не детали.

– Откуда ты знаешь про записку Безобразова? – Маргарита Павловна поправила очки с такой подозрительностью, словно Тая только что процитировала засекреченный архив. – Это не в учебнике.

Двадцать восемь голов повернулись к Тае. Двадцать восемь пар глаз – и в каждой паре, если присмотреться, разное: любопытство, скука, тихая зависть, безразличие, интерес Алёны Волковой, острый и цепкий, как рыболовный крючок.

– Реферат, – сказала Тая спокойно. – Из «Вопросов истории». Библиотека.

Второе правило: если выделилась – объясни. Несуществующий реферат, несуществующий журнал, точнее – журнал существовал, но Тая в него не заглядывала: она просто знала про записку, потому что в прошлом месяце в букинистическом на Покровке случайно коснулась старой карты Маньчжурии и увидела – на секунду, как вспышку – кабинет, человека в мундире, почерк, летящий по бумаге, и дату: 1903. Но этого Маргарите Павловне знать было не нужно.

– Похвально, – сказала Маргарита Павловна без особого энтузиазма и отпустила её.

Тая села на место, и Алёна, сидевшая через проход, наклонилась к ней с видом следователя, получившего новую улику:

– Какой реферат? Ты при мне всю неделю читала Коэльо.

– Старый реферат, – Тая не моргнула. – С лета.

Алёна откинулась на спинку стула, прикусила колпачок ручки – привычка, которую не могла побороть с третьего класса, – и прищурилась. У неё было лицо человека, который записывает в уме ещё один пункт в невидимый список, и Тая подозревала, что список этот давно перестал быть коротким.

В седьмом классе тремя этажами ниже Тая решала задачу другого порядка. Её протоколы были жёстче, чем у Таи, – потому что её дар был громче. Тридцать подростковых мозгов в замкнутом пространстве класса фонили, как тридцать радиоприёмников, настроенных на разные станции: обрывки мыслей, образов, эмоций, фантазий, которых лучше не знать, страхов, которые лучше не чувствовать. Ментальный скафандр – техника, которую она годами оттачивала до автоматизма, – держался, но к четвёртому уроку трещал по швам, как зимняя куртка, из которой выросла.

Тая выработала свой метод: когда фон становился невыносимым, она начинала тихо, одними губами, повторять стихи. Ахматова работала лучше всего – ритм её строк создавал частоту, на которой чужие мысли глохли, как радиопомехи. «Я научилась просто, мудро жить, смотреть на небо и молиться Богу...» – шептала Тая, и класс отступал, и можно было дышать.

– Ты что бормочешь? – спросил сосед по парте Витя Селезнёв, мальчик с вечно развязанными шнурками и мыслями такими громкими и простыми, что Тане иногда казалось – она слышит их на частоте FM.

– Формулы, – ответила Тая с той усмешкой, от которой не поймёшь – шутит или нет. – Уччу формулы.

Витя пожал плечами. Его мозг уже переключился на мысль о бутерброде с колбасой в портфеле и о том, когда наконец наступит перемена.

Тая вздохнула. Перемена была через двадцать две минуты. Она знала это без часов: школьный день ощущался как течение реки, и она всегда чувствовала, где находится – у какого поворота, у какого камня. Но на перемене будет хуже, потому что на перемене все думают одновременно, во весь голос, и коридор превращается в стадион, где орут триста человек, только не ртами, а головами.

Она достала из кармана блокнот – маленький, в клеточку, с загнутыми углами – и записала строчку, которая пришла сама, без спроса: «В чужих головах – как в чужих квартирах: везде пахнет по-разному, и ни одна – не твой дом».

* * *

Письмо пришло в среду вечером, когда Тая сидела за компьютером – старый «Пентиум», подключённый к dial-up через телефонную линию, и модем пел свою электронную песню, хрипя и свистя, как умирающий робот. Загрузка фотографии заняла две минуты и сорок секунд. Тая знала точно, потому что считала.

На фотографии была Маша. Маша у дома на Дзержинского, улыбающаяся, в джинсовой куртке, с причёской, которая отчаянно пыталась быть похожей на причёску солистки «Тату», но проигрывала битву с генетикой. За спиной Маши – новая вывеска: «Продукты 24 часа», яркая, с подсветкой, на месте старого «Продуктового», где когда-то давно продавщица тётя Валя отрезала сыр на глаз и никогда не ошибалась в граммах.

«Привет из Тольятти! – писала Маша. – Ты не поверишь: Серёжка Панкратов женился. На Ленке из параллельного. Ему 17, ей 16, мамы обеих в обмороке. Ещё снесли ларёк у школы, где мы покупали мороженое, помнишь? На его месте строят что-то стеклянное. Бабушка моя говорит – „скоро на Луну ларёк поставят“. А ещё Зинаида Аркадьевна передаёт привет, я её встретила на рынке, она купила три кило вишни и сказала, что варенье отправит „девочкам в Москву“. Как вы там? Скучаю жутко. Целую. Маша. P.S. Когда приедете?»

Тая перечитала письмо дважды. От экрана – голубоватого, мерцающего – тянуло теплом, и не от монитора, а от слов. Тольятти. Двор. Тополиный пух, который летел в июне и набивался в волосы, и мама ругалась, а папа смеялся. Варенье тёти Зины – густое, тёмное, с косточками,

которые тётя Зина принципиально не вынимала, потому что «с косточками – настоящее, а без – компот, а я тебе не фабрика». Запах этого варенья Тая помнила так отчётливо, что на секунду показалось – он здесь, в комнате, между системным блоком и стопкой учебников.

Она ответила коротко, тепло, стараясь не писать ничего лишнего. Маша не знала о дарах – и не должна знать. Четвёртое правило: никто вне семьи. Тая написала про Москву, про школу, про новый парк через дорогу, про то, что скучает тоже, и поставила смайлик – скобочку после двоеточия, как было принято. Про то, что на прошлой неделе в букинистическом увидела через старую карту чужую войну, – не написала. Про окурок на подоконнике, о котором папа рассказал маме шёпотом, думая, что дочери спят, – не написала тоже.

Модем снова захрипел, отправляя ответ. Тая закрыла почту и посидела ещё минуту перед тёмным экраном, на котором мигал курсор, как маленький маяк.

* * *

Телефон зазвонил в субботу, после обеда. Дима был в кабинете – дверь закрыта, за ней тишина, из тех, которые означают работу, а не отдых. Катя читала в гостиной, подвернув ноги под себя на диване, – Мураками, «Норвежский лес», в мягкой обложке с погнутым углом. Девочки были в своих комнатах: Тая – над алгеброй, Таня – над стихами, которые притворялись черновиком сочинения.

Дима снял трубку после второго гудка – Катя слышала через стену его голос, негромкий, ровный, с теми микропаузами, которые означали, что собеседник говорит важное.

– Да. Понял. Когда? Нет, конкретно. Понял. Спасибо, Лариса Николаевна.

Он вышел из кабинета через три минуты – и Катя, даже без всякого дара, по одному движению его руки, которая привычно коснулась дверного косяка и задержалась на секунду дольше обычного, поняла: новости не хорошие и не плохие, а из третьей категории – тревожные.

Дима сел рядом, взял её книгу, заложил страницу загнутым уголком – Катя ненавидела, когда так делают, но он делал это с первого дня знакомства, и она давно перестала бороться, – и сказал:

– Кравцова. Крюков никуда не делся. Просто научился ждать.

Катя посмотрела на него. Димино лицо было спокойным – но спокойствие это было рабочим, профессиональным, тем самым, которое он надевал в зале суда перед сложным допросом. Дома он так выглядел редко.

– Подробнее, – сказала Катя.

– Его структура. Она расширяется. Не быстро, но системно. Кравцова говорит – пока без агрессии, скорее – инвентаризация. Он собирает данные.

– О нас?

– Обо всех. Мы – один пункт из многих. Но пункт, который он запомнил.

Катя помолчала. За стеной Таня тихо напевала что-то – не мелодию, а ритм, повторяющийся рисунок из слогов, от которого по комнате разливалось что-то вроде покоя, только с металлическим привкусом, как вода из-под крана зимой.

– Мы обычная семья, – сказала Катя, и это прозвучало не как констатация и не как заклинание, а как-то посередине – как фраза, которую повторяешь так часто, что она теряет значение и обретает новое, более глубокое.

Дима накрыл её руку своей.

– Да, – сказал он. – Обычная.

И они оба знали, что это неправда, и оба знали, что другой это знает, и от этого общего знания делалось одновременно тяжело и легко – как от рюкзака, который нести трудно, но бросить невозможно.

Вечером Дима достал зелёную тетрадь с холодильника и сел за кухонный стол, пока Катя мыла посуду. Писал недолго – его записи всегда были краткими, как протокол: «11.10.2002.

Звонок Кравцовой. Крюков: расширение структуры, системный сбор данных, мягкий мониторинг. Конкретной угрозы нет. Общий уровень – жёлтый. Способности девочек стабильны. Контроль улучшается. Уровень внешней угрозы – без изменений. Пока».

Он закрыл тетрадь и положил обратно на холодильник, рядом с магнитом из Хабаровска – тигр на фоне сопок, привезённый из поездки, которая изменила всё и ничего одновременно.

* * *



Воскресный ужин был ритуалом. Не в религиозном смысле – семья Голубевых не отличалась обрядоверием, – а в том единственном, который имеет значение: воскресный ужин был границей, за которой заканчивалась неделя с её школами, судами, протоколами серой мышки и начиналась территория, где можно было быть собой. Или хотя бы приблизиться к этому.

Пельмени были Катины – кривоватые, с защипами в разные стороны, с мясной начинкой, которую она делала сама, потому что «магазинные пельмени – это не пельмени, а оскорбление для теста». Лепили вчетвером: Дима раскатывал тесто с точностью, которую перенёс из юриспруденции в кулинарию, Тая вырезала кружки стаканом, Таня закладывала начинку, а Катя защипывала – и каждый пельмень выходил разным, с характером, как дети, которых не удаётся вылепить по шаблону.

Сейчас они варились в большой кастрюле, и по кухне плыл запах теста и мяса, и Катя стояла у плиты, помешивая шумовкой, когда Таня, сидевшая за столом над учебником биологии, вдруг подняла голову.

– Мам, – сказала она, – ты ведь пельмени забыла.

Катя вздрогнула, обернулась к кастрюле – нет, всё нормально, пельмени мирно кружились в кипятке, ни один не прилип ко дну, – и перевела взгляд на дочь. Потом принялась. И только тогда – через секунду, через полторы – почувствовала: из духовки тянуло гарью. Пирожки с капустой. Она поставила их подрумяниться сорок минут назад и забыла.

– Господи, – Катя рванула к духовке, схватила прихватку, распахнула дверцу. Пирожки не сгорели – но были на грани, с тёмными подпалинами по бокам, с запахом, который через минуту стал бы запахом катастрофы.

– Ты могла бы хотя бы *притвориться*, что не знала, – сказала Катя, выставя противень на стол и обмахивая лицо прихваткой.

– Громко думаешь, – Таня пожала плечами с той самой усмешкой, от которой не поймёшь – шутит или констатирует. – «Пирожки, пирожки, я же ставила пирожки» – это было прямо в голос. В смысле, в мой.

– Стоп-кадр, – Катя подняла ладонь. – Давайте договоримся. Мои мысли о кулинарных промахах – не тема для чтения.

– Это не чтение, – Таня захлопнула учебник. – Это как если кто-то в соседней комнате орёт. Я не виновата, что у тебя громкость на максимуме.

Дима вошёл на кухню в этот момент, втянул носом воздух и оценил обстановку с мгновенностью, которая у другого человека называлась бы наблюдательностью, а у него – просто привычкой знать.

– Доказательная база: дым из кухни и свидетельские показания, – он кивнул на открытую духовку. – Не нужна никакая телепатия.

– Нормальным языком, пожалуйста, – Катя закатила глаза, но уголки губ уже дрогнули, и Тая, стоя в дверях с раскрытой ладонью у бедра – «нормально», – увидела, как мама сдерживает улыбку, как сдерживают чих: героически и безуспешно. – Кто пойдёт за новыми? Пирожками, в смысле. Пельмени-то целы.

– Логично, – сказала Тая.

Они сели ужинать – все четверо, за столом, накрытом клеёнкой в подсолнухах (Катя мечтала о скатерти, но с двумя подростками и пельменями скатерть была бы актом неоправданного оптимизма). Пельмени – с полной миской сметаны. Пирожки – подгоревшие, но съедобные, если не обращать внимания на чёрные бока. Чай – из электрического чайника, который Дима купил на прошлой неделе взамен старого, с присвистом, и новый работал бесшумно, от чего кухня казалась непривычно тихой.

– Письмо от Маши, – сказала Тая. – Серёжка Панкратов женился. Ему семнадцать.

– Господи, – Катя подняла брови. – Что его мама?

– В обмороке, – Тая улыбнулась. – Обе мамы.

– Доказательная база для развода через два года будет обширной, – заметил Дима, и Катя бросила в него хлебным мякишем, и он поймал его на лету, и Таня засмеялась – настоящим, негромким, домашним смехом, – и на несколько минут кухня стала тем, чем должна быть кухня: местом, где люди едят, шутят, роняют крошки на клеёнку с подсолнухами и не думают о том, что за стенами.

Потом пришла тишина – та самая, наполненная, из тех, что умеют наступать в этой семье между двумя фразами: все четверо замолкали одновременно, не по команде, а по какому-то общему внутреннему метроному, и сидели, каждый со своим миром внутри, но все – в одной крепости. Дима смотрел в окно, где октябрьские сумерки медленно пережёвывали парк. Катя перебирала вилкой остатки сметаны на тарелке, рисуя узоры, которые тут же расплывались.

Тая держала кружку обеими руками, грея пальцы, хотя на кухне было тепло. Таня слушала тишину – не внешнюю, а ту, что наступала рядом с семьёй, когда чужие голоса отступали, и оставался только родной, тёплый, еле слышный гул – как далёкое море в ракушке.

На подоконнике, в правом углу, желтел стикер, приклеенный ещё при переезде: «Мы обычная семья». Почерк Кати – округлый, уверенный. Бумага выцвела, один край отклеился и загнулся внутрь, но никто не снимал стикер. Никто не подклеивал. Он просто был.

* * *

Алёна Волкова сидела в школьном буфете, грызла колпачок ручки и смотрела на сестёр Голубевых через три столика.

Они не делали ничего подозрительного. Тая ела яблоко и читала книжку в мягкой обложке – Коэльо, «Алхимик», тот самый, который читали все, – а Таня пила чай из пластикового стаканчика и что-то записывала в блокнот, прикрывая страницу рукой, как списывающая троечница, хотя троечницей не была. Обычные сёстры. Обычный обед.

Но Алёна вела список. Не на бумаге – в голове, потому что на бумаге было бы параноидально, а Алёна параноиком себя не считала, она считала себя наблюдательной, а это разные вещи, хотя граница между ними в последнее время истончалась.

Двадцать семь случаев за два с лишним года. Тая однажды в музее назвала факт, которого не было на табличке, и выкрутилась несуществующим рефератом. Таня на перемене сказала Лене Сорокиной позвонить маме, а через пять минут Лену и правда вызвали к телефону – мама попала в аварию, мелкую, без жертв, но всё же. Тая перед контрольной по географии сказала: «Это будет про Австралию» – и оказалась права, хотя проходили Африку.

По одному это объяснялось случайностью. Вместе – уже нет.

Но двадцать семь совпадений – это уже статистика. А Алёна, дочь инженера-математика, знала, что статистика – упрямая наука.

Она не спрашивала напрямую. Не потому что боялась – а потому что чувствовала: есть черта, за которой дружба перестаёт быть дружбой и становится допросом. Алёна этой чертой дорожила. Тая была лучшей подругой – настоящей, той, с которой можно молчать и не объяснять почему, – и если у неё есть секрет, то, может, у секрета есть причина, а у причины – право на существование.

Но глаза. Глаза Алёны говорили другое. И Тая, хоть и не читала мыслей (это была Танина территория), видела в этих глазах то, что видит любой, кто привык замечать: вопрос, терпеливый и ненавязчивый, но не собирающийся уходить.

Тая отложила «Алхимика», поймала Алёнин взгляд через три столика и подняла бровь – что?

Алёна улыбнулась, помахала рукой – ничего, всё нормально – и вернулась к своему йогурту. Двадцать восьмого пункта пока не было. Пока.

* * *

Неделю спустя, в четверг, Кравцова позвонила снова.

Дима был один в квартире – Катя увезла девочек на Горбушку за диском для Тани (Земфира¹), «Четырнадцать недель тишины», кассета – уже анахронизм, а CD-плеер Таня купила на свои, скопленные с дней рождения и мелких подработок – перевод текстов для Катиной коллеги, три рубля за страницу). Дима сидел в кабинете, перечитывая материалы по «Стройинвесту», когда Nokia на столе – серая, тяжёлая, модель 3310, которую он не менял третий год, потому что не видел причины, – высветила незнакомый номер. Но Дима знал, кто звонит, раньше, чем посмотрел на экран. Знание пришло, как приходило всегда: без стука, без церемоний, как факт. Кравцова. И новости хуже, чем в прошлый раз.

– Лариса Николаевна, – сказал он вместо «алло».

¹ здесь и далее: Признана иностранным агентом

Пауза на том конце – короткая, почти незаметная. Кравцова давно привыкла, но каждый раз эта привычка требовала от неё маленького усилия.

– Дмитрий Михайлович. Не буду занимать много времени.

Голос – виолончель, как всегда, но с новой нотой, которой не было раньше. Усталость, подумал Дима. Нет – не усталость. Осторожность, похожая на усталость. Как у человека, который несёт полный стакан по скользкому полу.

– Слушаю.

– Крюков расширил структуру. Теперь не только сбор данных – система. Участковые, школьные психологи, медицинские карты. Под видом профилактики. Формально – работа с «трудными подростками» и «одарёнными детьми». Фактически – фильтр. Сетка, через которую просеивают, и зёрна – это мы.

Дима слушал, не перебивая. За окном кабинета – московский двор: качели, песочница, три берёзы, ещё не облетевшие до конца, – и мужчина в чёрной куртке выгуливал добермана. Обычный мужчина. Обычный доберман. Дима запомнил лицо – привычка, от которой не мог избавиться и не хотел.

– Две семьи из моего круга уехали, – продолжала Кравцова. – Одна – в Краснодар. Другая – в Израиль. Не паникую. Информировую.

– Уехали потому что давили?

– Уехали потому что почувствовали, что могут начать давить. Разница существенная, но ненадолго.

Дима потёр переносицу. Знание внутри него – тёплое, неотменимое, как гравитация – говорило: Кравцова права. Мир сужался. Не быстро, не драматично – а так, как сужается дорога в тумане: ты не замечаешь, пока не обнаруживаешь, что обочины нет.

– Нам нужно что-то менять? – спросил он.

– Пока – нет. Но нужно помнить, что «пока» – это не «всегда». Берегите девочек, Дмитрий Михайлович. Подростки с выраженными способностями – именно то, что ищет его сетка.

– Спасибо, Лариса Николаевна.

– Не за что благодарить, – голос Кравцовой стал чуть мягче, на полтона. – Мы все в одной воде плывём. Кто-то – ближе к берегу, кто-то – дальше. Но вода одна.

Она положила трубку. Дима сидел с телефоном в руке ещё минуту и смотрел в окно. Мужчина с доберманом ушёл. Качели скрипели на ветру, пустые, как декорация к фильму, который ещё не начался.

Потом пришли Катя и девочки – шумные, с пакетами, с холодным октябрьским воздухом в волосах. Таня размахивала CD-диском с торжеством полководца, Тая несла бумажный стаканчик с латте, а Катя тащила пакет из «Ашана» и книгу, найденную на развале у Арбата.

Дима вышел встречать их в коридор и стоял в дверях, прислонившись к косяку, и смотрел, как они раздеваются, как Таня роняет ботинок, как Тая отпивает латте и обжигается, как Катя вешает куртку и поправляет заколку-краб, – и в этот момент знание, которое жило в нём всегда, сказало ему две вещи одновременно: эти люди – всё, что у него есть, и кто-то, рано или поздно, попытается это отнять.

Он улыбнулся – не потому что ему было весело, а потому что улыбка была единственной формой сопротивления, которую он мог себе позволить, не пугая семью.

– Как Горбушка? – спросил он.

– Земфира – за двести, – сообщила Таня. – А ещё я видела Nokia 7650 с камерой. Мечта, а не телефон. Двенадцать тысяч рублей. Можно мне?

– Доказательная база для такой покупки, – Дима поднял бровь, – потребует серьёзной подготовки.

– Например?

– Например, четвертные отметки без троек.

– Жёстко, – Таня вздохнула с театральным драматизмом, но глаза смеялись.

Дима подмигнул ей – и только Катя, стоя за спинами дочерей, увидела, как его рука коснулась дверного косяка и задержалась на секунду дольше обычного.

Вечером, когда девочки уснули, Дима рассказал Кате всё: участковых, школы, медицинские карты, две семьи, фильтр, сетку.

Катя слушала у чайника, который только что вскипел. Слушала молча, а потом повернулась к нему так резко, что даже кружка на столе звякнула о блюдец.

– Он не тронет их?

– Если попробует – у него будут очень неудачные следующие дни.

– Дим.

– Что?

– Ты сейчас сказал это так спокойно, будто речь о покупке картошки.

– Картошку я, кстати, покупаю осторожнее.

– Вот и пугаешь ты меня своей семейной логикой.

– Катя, я не пугаю. Я просто ставлю замок на дверь.

– А если замок не поможет?

– Тогда у нас есть ещё я, ты и очень плохая ночь для любого, кто полезет к девочкам.

– Иногда ты звучишь так, будто сам себе не веришь.

– Я себе верю. Я не люблю лишнего шума.

– Вот за это я тебя и люблю. И раздражаюсь одновременно.

Катя фыркнула, но не спорила. Она только взяла чайник, налила два чая и поставила кружки на стол.

– Значит, держим замок.

– И держим тишину.

– И чай.

– И чай, – согласился он.

* * *

Дверь между комнатами сестёр была приоткрыта – как всегда, с самого детства, с тольяттинской квартиры, где щель между дверью и косяком была ровно такой ширины, чтобы в неё проходил шёпот, свет ночника и ощущение, что ты не одна.

– Тань, – позвала Тая в темноту. – Ты не спишь.

Не вопрос. Утверждение. Тая не читала мыслей – это было не нужно: она знала ритм Таниного дыхания, как знают мелодию любимой песни, и когда ритм не совпадал со сном, это было очевиднее, чем световая вывеска.

– Не сплю, – подтвердила Таня из своей темноты. Земфиру она выключила, наушники лежали на подушке, и тишина была настоящей – не подоконной, не школьной, а ночной, домашней, слоистой, как пирог: внизу – гул города, выше – тикание часов в коридоре, ещё выше – дыхание родителей за стеной, и на самом верху – тонкий, еле различимый звон, который Таня слышала только ушами, недоступными другим. Фон. Мир думает. Город думает. Триста тысяч человек в радиусе километра видят сны, и от этих снов поднимается еле слышный шум, как от далёкого водопада.

– Ты слышала, о чём папа говорил с мамой? – спросила Тая.

Пауза. Таня могла бы не отвечать – обе знали, что могла.

– Не специально. Папа думает тише всех, но когда он волнуется, это как... знаешь, как если в тихой комнате кто-то уронит книгу. Не громко, но слышно.

– И?

– Крюков. Сеть, мониторинг, что-то про участковых и школьных психологов.

Тая лежала в темноте, глядя в потолок, на котором свет фонаря с улицы рисовал прямоугольник – жёлтый, чёткий, как конверт. Руки – поверх одеяла, ладонями вверх. Не потому что

боялась коснуться чего-то и увидеть – привычка, просто привычка, как класть ключи всегда на одно место.

– Сенека говорил: мы страдаем чаще в воображении, чем в реальности, – сказала она.

– Сенека не знал Крюкова, – ответила Таня.

Тая усмехнулась в темноте. Хорошо, что Таня этого не видела – или видела, потому что засмеялась тоже, тихо, носом, как смеются, когда смешно и немножко страшно одновременно.

– Мы справимся, – сказала Тая. Не потому что видела это – ясновидение не работает по заказу и редко показывает то, что хочешь увидеть, – а потому что в этом была уверенность другого порядка: не дара, а опыта. Они справлялись раньше. Справятся и теперь.

– Это не совпадение, – произнесла Таня задумчиво. – Ну, то есть, конечно, совпадение. Но знаешь что? Сегодня на Горбушке я случайно коснулась руки продавца – того, с бородой, у которого мы брали Земфиру, – и услышала его мысль. Одну, чёткую, как звонок. Он думал: «Господи, только бы не закрыли точку. Только бы не проверка». И мне стало... не то чтобы грустно. А – ну, что все чего-то боятся. Все прячутся. Не только мы.

Тая повернулась на бок, лицом к щели между дверью и косяком, через которую в её комнату тянулась полоска Таниной темноты.

– Каждый момент жизни, – сказала она, – создан вашими же мыслями. Марк Аврелий.

– Мне больше нравится так, – Таня помолчала и произнесла, не сразу, подбирая слова, как подбирают камешки на берегу: – «Страх – это черновик. А жизнь – чистовик, который пишется поверх».

– Это чьё?

– Моё. Только что придумала.

– Запиши.

– Утром.

Тишина. Потом – Танин голос, совсем тихий, почти без звука, одними губами:

– Тай. А если кто-то стоял на лестнице? Папа ведь нашёл окурок.

Тая не ответила сразу. Она смотрела на жёлтый прямоугольник на потолке – конверт без адреса, письмо без слов, – и чувствовала, как под кожей, в кончиках пальцев, просыпается что-то, похожее на предчувствие, только без образов: глухое, слепое, как свет за закрытыми веками.

– Если кто-то стоял, – сказала она наконец, – то он увидел дверь. Просто дверь. Четвёртое правило.

– Четвёртое правило, – повторила Таня, и это прозвучало как пароль, как заклинание, как выдох перед прыжком.

– Спи, – сказала Тая.

– Сплю, – ответила Таня, и обе знали, что не уснут ещё долго, но это знание было из тех, которыми делятся, не произнося вслух.

* * *



Дверь на лестничную площадку закрывалась с глухим щелчком – Дима сам поставил замок, немецкий, надёжный, из тех, что не открыть без ключа и навыка. Привычка проверять площадку перед сном стала ритуалом давно, ещё после истории с Виталием в Тольятти, и с тех пор ни один вечер не заканчивался без этого обхода: три минуты, два пролёта, взгляд на подоконник между этажами, на дверь мусоропровода, на почтовые ящики внизу. Ничего необычного. Ничего – вот уже полтора года.

В этот вечер – поздний, после разговора с Катей, после чая, после записи в зелёной тетради – Дима вышел на площадку, как выходил всегда: тихо, в одних носках, без света, чтобы не привлекать внимание соседей. Площадка дышала знакомыми запахами: варёная картошка из квартиры Романовых, кошка Петровых (второй этаж, персидская, с характером тигра и грацией бегемота), еле уловимый сладковатый дух старого дерева от перил, которые помнили руки трёх поколений жильцов.

Дима прошёл к лестнице, спустился на полпролёта. Подоконник между третьим и вторым этажом – широкий, кафельный, с облупившейся краской на раме – был тем местом, где он обычно задерживался: отсюда просматривался двор, подъездная дверь и кусок тротуара до арки.

На подоконнике лежал сигаретный окурок.

Свежий. Ещё тёплый, когда Дима поднёс его к пальцам, – тепло уходило, как уходит тепло из руки, которую только что держали. Марка дешёвая, «Пётр I», синяя пачка, из тех, что продают в каждом ларьке за двадцать три рубля. Фильтр – обжат чуть левее центра, привычка правши, который курит быстро, жадно, глубоко затягиваясь.

Никто из соседей не курил на лестнице. Дима знал это не даром, а наблюдательностью, помноженной на полтора года жизни в доме: Романовы не курили принципиально (бабушка Романова – бывший фтизиатр), Петровы курили на балконе, молодая пара с четвёртого – он курил, но выходил во двор, она – бросила в прошлом году, о чём сообщила всему подъезду объявлением в лифте, написанным фломастером на листке А4.

Дима стоял в полутьме, держа окурки двумя пальцами – указательным и большим, как держат улику, – и знал. Знание пришло целиком, без частей, без логической цепочки: готовое, как приговор.

Кто-то стоял здесь. Стоял и смотрел на дверь – на их дверь, третий этаж, направо. Не вор – вор бы не оставил следа, вор – существо осторожное, как все, кто живёт нарушением чужих границ. Не случайный гость – случайный гость поднялся бы к нужной квартире или спустился, не задерживаясь на подоконнике для перекура. Кто-то, кому важно было быть здесь. Стоять. Смотреть. И, возможно, – чтобы это заметили.

Визитная карточка. Без имени и номера. Просто – «я был здесь, и я знаю, где вы живёте».

Дима положил окурки обратно на подоконник – точно туда, где он лежал. Не тронул, не выбросил. Поднялся по лестнице, вошёл в квартиру, закрыл дверь на все замки. В полутьме коридора – тусклый свет ночника, отражённый от зеркала, – увидел Тая. Она стояла в дверях детской, в пижаме, с книгой в руке – «Алхимик» Коэльо, зачитанный до мягкости, – и смотрела на него с тем выражением, которое у четырнадцатилетних бывает только тогда, когда они знают больше, чем имеют право в своём возрасте.

Тая подняла раскрытую ладонь у бедра – «нормально?»

Дима ответил тем же жестом. Раскрытая ладонь. «Нормально».

Тая кивнула, отступила в комнату и закрыла дверь – не до конца, оставив щель, через которую тянулся свет ночника и тишина, наполненная дыханием спящей (или не спящей) Тани.

Дима прошёл на кухню. Катя была там – конечно, была: в стрессе она всегда шла на кухню, как моряк идёт к кораблю, – и ставила чайник. Щелчок кнопки, гудение спирали, привычный звук, который в этой семье означал: сейчас мы сядем и разберёмся.

– Нас проверяют, – сказал Дима шёпотом, закрыв за собой дверь. – Кто – пока не знаю. Но это не взлом и не угроза. Это визитная карточка.

Катя стояла спиной к нему, и он видел, как её плечи – на секунду, на одну только секунду – окаменели, а потом расправились, как расправляется ткань, которую разгладили ладонью. Она повернулась.

– Крюков?

– Возможно. Или его новые люди. Кравцова говорила про мониторинг.

Пауза. Чайник набирал обороты, гудел всё выше, и в этом нарастающем гуле было что-то успокаивающее – как в поезде, который набирает скорость и этим обещает, что движется куда-то, что стоянка не вечна.

– Стоп-кадр, – сказала Катя. – Что мы делаем?

Дима сел за стол. Клеёнка с подсолнухами, крошки от ужина, пятно сметаны, которое Катя не заметила. Он положил руки на стол – ладонями вниз, пальцы чуть разведены, – и сказал:

– Пока – ничего. Смотрим. Слушаем. Живём.

Катя села напротив. Чайник щёлкнул, вскипев, и тишина после щелчка была оглушительной.

– Дима, – сказала она тихо. – Девочкам четырнадцать и тринадцать. Четырнадцать и тринадцать. Они должны думать о контрольных и мальчиках, а не о том, что кто-то стоит за дверью.

– Они думают обо всём, – ответил Дима, и в этом «обо всём» было так много, что Катя не стала переспрашивать.

Она встала, налила два чая – ему, себе, – и поставила кружки на стол. Его – белая, из «Ашана». Её – с надписью «Лучшей маме на свете», уцелевшая в десятках воскресных утр.

– Мы здесь, – сказала Катя, и на этот раз каждое слово легло отдельно, как камень в фундамент.

Дима посмотрел на неё. Потом – на подоконник, где желтел стикер с этой же фразой, написанной три года назад. Бумага потемнела, один край загнулся. Но держался.

– Да, – сказал Дима.

Он допил чай, положил кружку в раковину и открыл зелёную тетрадь. Ручка – синяя, шариковая, из тех, что пачкают пальцы, – легла на бумагу, и запись получилась короче, чем тревога: *«18.10.2002. Окурок на подоконнике, 3-й этаж. „Пётр I“. Свежий. Обжат правой рукой, курильщик с привычкой. Никто из соседей. Мониторинг? Прощупывание? Визитная карточка без имени. Не паниковать. Но не забывать».*

Он закрыл тетрадь и вернул её на холодильник, рядом с хабаровским магнитом. Тигр на фоне сопок скалился в полутьме, как будто знал что-то, о чём не говорил.

За окном кухни – московская ночь, октябрьская, с низкими облаками и запахом дыма, который к утру развеется, а к вечеру вернётся. Клёны в парке уже не горели – в темноте они были просто деревьями, просто силуэтами, и только фонарь на дорожке выхватывал лужу, полную листьев, похожую на витраж, разбитый ветром.

Дима выключил свет на кухне. Постоял в темноте, прислушиваясь – не ухом, а чем-то более глубоким, тем органом, которому нет названия на языке медицины, – и не услышал ничего, кроме тишины.

Но тишина была из тех, что не обещают покоя. Из тех, что бывают перед первой нотой – когда оркестр уже поднял инструменты, дирижёр уже поднял палочку, и зал затих, и все ждут, и никто не знает, что прозвучит.

Дима закрыл кухонную дверь и пошёл спать. Утром он проверит лестницу снова. Утром окурка на подоконнике не будет – он знал это уже сейчас, знал с той ледяной, тихой уверенностью, с которой знал всё, – но пепельный запах останется, как остаётся память о прикосновении после того, как рука убрана.

Кто-то приходил. Кто-то – уйдёт. Но кто-то – вернётся.

Новый отсчёт начался.

Глава 2. Беспроигрышный

Суди о человеке больше по его вопросам, чем по его ответам.

Коридоры Кузьминского районного суда пахли линолеумом, хлоркой и чем-то неуловимо казённым – тем самым запахом, который живёт в каждом государственном учреждении от Калининграда до Владивостока, словно его производят на специальной фабрике и развозят по утрам вместе с почтой. В этих коридорах Дима Голубев чувствовал себя как рыба в воде – если рыба умеет носить костюм, завязывать галстук виндзорским узлом и знать исход любого дела ещё до того, как войдёт в зал.

Он шёл от автомата с растворимым кофе – горьким, жидким, в пластиковом стаканчике, обжигаящем пальцы, – и нёс под мышкой тонкую бежевую папку с надписью «Черников А. П.» на корешке, сделанной Катиным почерком. Впереди ждали зал номер три, судья Черкасов, адвокат обвинения Свиридов, которого Дима уважал за упрямство и не уважал за привычку перебивать свидетелей, и дело, которое со стороны выглядело безнадёжным, но изнутри – изнутри Диминого знания – было простым, как задачка из школьного учебника, где известен ответ, а нужно лишь расписать решение.

Проблема была не в ответе. Проблема была в том, как расписать его так, чтобы чужие глаза увидели то, что он уже знал.

За полтора года в Москве – после переезда, после Тольятти, после того разговора с Крюковым, который оставил во рту привкус железа и произнесённых угроз, – Дима выстроил практику, которая работала безупречно и которую он ненавидел ровно в той степени, в которой профессионал может ненавидеть собственное совершенство. Он брался только за те дела, где знание подтверждало правоту клиента. Не все дела – только правые. Защищать виновного означало идти против собственного знания, а это ощущалось физически – как ходьба против ветра, который дует изнутри.

Результат: ни одного проигранного дела за полтора года. Больше пятидесяти процессов – в каждом победа. В юридических кругах Москвы это порождало почти легенду, которая росла быстрее, чем Дима мог её контролировать. «Голубев берёт только выигрышные дела» – говорили одни, и это было правдой, хотя они не понимали, откуда он знает, какие дела выигрышные. «Голубев – гений перекрёстного допроса» – говорили другие, и это тоже было правдой, только частичной, как половина фотографии. «Голубев – пророк в галстуке» – шутил кто-то на банкете после конференции, и Дима улыбнулся той улыбкой, которую носил как маску: мягкой, закрытой, допускающей любое толкование.

Он допил кофе у входа в зал и выбросил стаканчик в урну. Пальцы были сухие и тёплые. Сердце билось ровно – семьдесят два удара в минуту, как всегда перед процессом: его тело давно перестало реагировать на то, что не содержало настоящей неизвестности.

Свидетель солжёт на третьем вопросе, – пришло знание, тихое, как факт из энциклопедии. – Адвокат Свиридов потеряет самообладание после шестого. Судья Черкасов вынесет оправдательный приговор после обеда, примерно в четырнадцать тридцать.

Дима поправил галстук, толкнул дверь и вошёл в зал, где пятнадцать человек ещё не знали того, что он уже знал.

* * *

Зал был небольшой – четыре ряда скамей для зрителей, стол обвинения слева, стол защиты справа, между ними – пространство, в котором разыгрывались спектакли, которых не ставил ни один театр. Потолочные лампы давали свет ровный и безжалостный, без теней, без полутонов, словно сама архитектура зала настаивала: здесь всё должно быть видно, здесь нечего прятать.

Судья Черкасов уже сидел на своём месте – прямая спина, седые виски, галстук стального цвета в тон рубашке, что придавало ему вид человека, для которого даже одежда подчиняется протоколу. Черкасову было около пятидесяти пяти, и за тридцать лет на скамье он видел столько лжи, правды и всего, что между ними, что его лицо приобрело выражение вежливой усталости, как у зрителя, который смотрит пьесу в сотый раз, но всё ещё ценит хорошую игру.

Дело выглядело так: коммерческая фирма «ТрансОптТорг» обвиняла бывшего партнёра Черникова в хищении через подставные контракты. Семь контрактов на закупку оборудования, которое никогда не поставлялось, – по крайней мере, так утверждало обвинение. Документы были безупречны – Катя изучала их три вечера подряд и нашла лишь одну опечатку в дате, не имеющую юридического значения. Свидетели подготовлены. Логика выстроена. Адвокат Свиридов – высокий, сухой, с манерой говорить чуть громче, чем требовала акустика зала, – представил свою версию с уверенностью человека, который уже мысленно праздновал победу.

Черников сидел рядом с Димой – мужчина пятидесяти двух лет, с лицом, на которое легли тени бессонных ночей и предательства партнёра, которого он считал другом. Его руки лежали на столе – крупные, рабочие руки инженера, привыкшие к чертежам, не к судам, – и мелко подрагивали, хотя сам он старался этого не показывать.

Дима знал, что Черников невиновен. Не верил, не предполагал – знал, как знают, что вода мокрая, что земля круглая, что дочь-телепатка услышит твою мысль раньше, чем ты успеешь её подумать до конца. Знание пришло при первой встрече, когда Черников сидел в приёмной, комкая в руках кепку, пахнущую машинным маслом и страхом, и рассказывал свою историю голосом человека, которому уже некому рассказывать. Дима слушал – и одновременно знал: не лжёт, не приукрашивает, не скрывает. Чист, как стекло.

Но чистое стекло, когда на него смотрят через мутную воду подставных документов, выглядит кривым.

– Вызывается свидетель Сапрыкин Олег Геннадьевич, – объявила секретарь, и в зал вошёл человек, которого Дима ждал.

* * *



Сапрыкин был невысок, плотен, с лицом, которое в другом контексте назвали бы добродушным: круглые щёки, лоб с залысинами, глаза с прищуром, от которого собирались морщинки. Он носил костюм чуть тесноватый в плечах – словно надел для суда единственный приличный пиджак, из которого успел вырасти, – и держался уверенно, как человек, отрепетировавший свою партию.

Свиридов провёл прямой допрос за двенадцать минут: Сапрыкин рассказал, как присутствовал при подписании трёх из семи контрактов, как видел Черникова на переговорах с подставной фирмой, как заметил подозрительные переводы. Говорил гладко, чуть слишком гладко – с той отрепетированной беглостью, которая выдавала не память, а заучивание. Дима слушал, сцепив пальцы перед собой, и на лице его было выражение вежливого внимания, почти скуки – выражение, которое он отрабатывал годами и которое действовало на свидетелей, как тёплая ванна: расслабляло.

Перекрёстный допрос начался мягко.

– Олег Геннадьевич, – Дима встал, но не подошёл к свидетельскому месту, а остался у стола, опираясь на него кончиками пальцев, – позвольте уточнить несколько деталей. Вы давно знакомы с истцом, Корнеевым?

– Работали вместе четыре года.

– Хорошо работали?

Сапрыкин кивнул. Свиридов нахмурился – вопрос казался бессмысленным.

– А в отпуск когда последний раз ездили? – спросил Дима тем тоном, каким спрашивают о погоде в лифте: между делом, без нажима.

– В августе, на море, – Сапрыкин улыбнулся, всё ещё расслабленный. – С семьёй.

– Куда, если не секрет?

– В Анталию. Турция.

– Хорошо в Анталии? – Дима улыбнулся в ответ, и Черкасов чуть приподнял бровь – он уже видел подобное раньше и знал, что за этой вежливостью прячется что-то, как за дверцей в стене прячется сейф.

– Нормально, – сказал Сапрыкин, окончательно уверившись, что разговор про отпуск безопасен.

Дима выдержал паузу – секунду, две, три. Паузы в его руках были инструментом точнее любого скальпеля: они заставляли людей заполнять тишину, а заполняя, – проговариваться.

– А машину давно меняли? – спросил он.

– В прошлом году, «Мазду» взял, – Сапрыкин сказал это с той непосредственностью, с которой мужчины говорят о машинах: как о продолжении себя.

– Хорошая машина, – кивнул Дима. – Дорогая.

Свиридов встал:

– Ваша честь, я не понимаю, какое отношение автомобиль свидетеля имеет к делу.

– Я тоже пока не понимаю, – признал Черкасов с тенью улыбки. – Но адвокат Голубев обычно знает, куда ведёт. Продолжайте.

Дима кивнул – спокойно, благодарно – и повернулся к Сапрыкину. Тот ещё улыбался, но улыбка начала затвердевать, как глина на солнце.

– Скажите, Олег Геннадьевич, а почему вы купили квартиру в Сочи за три дня до подачи заявления в полицию?

Тишина. Не театральная, не драматическая – рабочая, тяжёлая, как балка, которую кладут поперёк дверного проёма. В этой тишине было слышно, как за окном зала проехал автобус, как скрипнул стул под секретарём, как Свиридов выронил ручку – она ударилась о стол и покатилась к краю, и никто не стал её ловить.

Лицо Сапрыкина изменилось мгновенно и необратимо, словно кто-то стёр одну маску и не успел подставить другую: от розового – через серый – к пепельному, и глаза, только что прищуренные от добродушия, расширились так, что стали видны белки.

– Я... какая квартира? – пробормотал он, и голос дал трещину, как лёд на луже в марте.

– Однокомнатная, улица Роз, дом четырнадцать, квартира пятьдесят один, – Дима перечислял факты тем же ровным тоном, каким за минуту до этого спрашивал про отпуск. – Оформлена на супругу, Сапрыкину Ирину Владимировну, восьмого февраля. Заявление подано одиннадцатого. Цена – три миллиона двести. При вашей зарплате, если не ошибаюсь, это доход примерно за три года. Без еды и отпусков.

Тишина уплотнилась. Черкасов уже не сдерживал интереса – он смотрел на Диму с выражением зрителя, которому наконец показали фокус, достойный билета.

– Это не имеет отношения... – начал Сапрыкин, но Дима мягко, почти извиняющимся жестом поднял ладонь.

– Позвольте, я перефразирую. Вы утверждаете, что видели моего клиента на переговорах с контрагентом «СтройЛайн» двенадцатого января. Но в показаниях вы описали кабинет на третьем этаже – дубовый стол, два окна, вид на Каширское шоссе. Верно?

– Верно, – Сапрыкин кивнул машинально.

– А офис «СтройЛайна» переехал на Каширку только в марте. В январе они были на Нагатинской. Этаж второй. Окна – во двор.

Свиридов вскочил, но Черкасов жестом удержал его: *дайте закончить*.

– Вы описали помещение, в котором никогда не были в январе, – продолжал Дима, и каждое слово ложилось точно, как кирпич в кладку. – Вы описали его так подробно, потому что были там позже – видимо, когда вам показывали, что нужно запомнить. Но память – штука упрямая, Олег Геннадьевич: она запоминает то, что видит, а не то, что вам велели видеть. Вы видели дубовый стол и Каширское шоссе – потому что были в офисе после переезда. В январе вы не были нигде. И контрактов не видели.

Дима сел. Не торопясь, не торжествуя – просто сел, как садятся, закончив работу: ту, что была сделана, потому что её нужно было сделать.

Черников рядом сжал кулаки под столом и чуть слышно выдохнул – звук, похожий на «спасибо», но без слов.

* * *

Оправдательный приговор был вынесен в четырнадцать тридцать девять – буквально на несколько минут позже, чем ожидал Дима, потому что Черкасов попросил технический перерыв, чтобы перечитать два документа, и Дима сделал себе мысленную пометку: в следующий раз учитывать человеческий фактор со стороны судьи – даже знание не всесильно, когда дело касается чужого перфекционизма.

В коридоре суда, где запах хлорки мешался с сигаретным дымом, проникающим с лестницы, и бубнящим телевизором в углу, показывающим дневные новости, Диму перехватил Леонид Владимирович Постников – адвокат с двадцатилетним стажем, крупный, лысеющий, с манерой хлопать собеседника по плечу, от которой у более хрупких людей оставались бы синяки.

– Голубев, – Постников хлопнул, и Дима привычно принял удар, лишь чуть качнувшись, – ну ты даёшь. Как ты узнал про квартиру в Сочи?

Дима отпил растворимый кофе из пластикового стаканчика. Горький, водянистый, с привкусом, далёким от кофе, как Москва от Тольятти, – но привычный, как любой ритуал, и потому – почти вкусный.

– Внимательно слушал, – сказал он. – Большинство людей этого не умеют.

– Нет, серьёзно, – Постников прищурился, и в его прищуре мелькнуло что-то, похожее на профессиональную зависть, обёрнутую в дружелюбие, как конфета в фантик. – У тебя же не было документов по квартире. Я видел материалы. Откуда?

– Из открытых источников, – Дима допил кофе и аккуратно смял стаканчик. – Кадастровый реестр – публичная информация, Леонид Владимирович. Нужно просто знать, что искать.

Это было правдой – неполной, как половина фотографии. Кадастровый реестр действительно был открытым, и Катя действительно нашла в нём запись о сделке: она проверяла имущество каждого свидетеля обвинения, потому что Дима попросил, а когда Дима просил проверить что-то конкретное, Катя давно перестала спрашивать «почему» и просто проверяла, потому что «почему» она и так знала. Но знание о том, *что именно* искать – квартира, Сочи, три дня до заявления, – это знание пришло само, без логики, без цепочки, без ступенек: пришло, как приходит рассвет, – ты открываешь глаза, и он уже здесь.

Постников хлопнул ещё раз и ушёл, бормоча что-то о «чутье» и «интуиции», а Дима остался стоять в коридоре, в руке – смятый стаканчик, в голове – не мысль, а ощущение: лёгкий привкус фальши на языке, который появлялся всякий раз, когда он маскировал знание под профессионализм. Привкус этот с годами не слабел, а напротив, густел, как чай, который забыли на плите: в нём было всё больше горечи и всё меньше аромата.

Он выбросил стаканчик в урну. Пятнадцать дел – пятнадцать побед. Шестнадцатое – завтра. Семнадцатое – через неделю. Голубев не проигрывает. Голубев – пророк в галстук.

Устал, – подумал он. Не романтически – бытово, как устают от работы, от пробок, от шума за стеной. Устал от спектакля, в котором он – единственный актёр, знающий финал, и каждый раз должен делать вид, что удивлён.

Телефон в кармане пиджака завибрировал – Nokia, серая, тяжёлая, три года без замены, на экране – «Катя». Дима снял:

– Да.

– Выиграл? – спросила Катя, и в её голосе не было ни вопроса, ни сомнения – только ритуал: она знала, что он выиграл, и он знал, что она знает, но спросить всё равно нужно было, потому что некоторые вещи существуют не ради информации, а ради связи.

– Выиграл.

– Пельмени или макароны?

– Пельмени.

– Логично, – сказала Катя Таинным словом, и Дима усмехнулся в трубку, потому что в этой семье слова переходили от одного к другому, как вещи – незаметно, без спроса, становясь общими.

* * *

Ангина пришла в четверг, без предупреждения, без продромальных намёков, без вежливого покашливания – Дима проснулся утром и понял, что глотание стало отдельным упражнением, требующим мужества. К обеду температура поднялась до тридцати девяти, горло превратилось в наждачную бумагу, а голос – в хриплый шёпот, который годился для конспирологических признаний в подвале, но никак не для зала суда.

Он лежал на диване в гостиной, укутанный в плед, который пах лавандовым кондиционером для белья (Катин выбор), и смотрел в потолок с тем выражением, с каким полководец смотрит на карту проигранного сражения. Рядом – чашка с малиновым чаем, который Катя готовила по рецепту тёти Зины: кипяток, три ложки малинового варенья, долька лимона, мёд – «и никаких таблеток, солнышко, природа лечит лучше аптеки». Таблетки, впрочем, тоже лежали – на блюде, рядом с чаем, как компромисс между зининой народной медициной и катиным прагматизмом.

– В понедельник слушание по Жилкину, – прохрипел Дима, обращаясь к потолку. – Спор о праве собственности на нежилое помещение. Дело несложное, но клиент серьёзный: Рогов, владелец двух автомоек и мечтающий о третьей. Тебе придётся...

– Мне придётся, – Катя стояла в дверях с пачкой бумаг, которые она, судя по виду, успела вытащить из кабинета, пока Дима боролся с наждачным горлом. – Я уже посмотрела. Кадастровые документы, выписка из ЕГРП, договор аренды с ошибкой в дате – которую, к слову, я нашла вчера, без твоей помощи. Есть хороший прецедент, дело Волковых против «Базиса», решение Мосгорсуда, две тысячи первый год.

Дима приподнялся на локте, и этот жест стоил ему волны головокружения, от которой комната мягко покачнулась.

– Я мог бы подсказать...

– Нет, – Катя сказала это, не оборачиваясь, перекладывая бумаги на обеденном столе с тем деловитым спокойствием, которое у неё появлялось в моменты, когда мир настаивал на том, что она – всего лишь «жена адвоката», и она настаивала в ответ, что мир ошибается.

– Что – нет?

Она обернулась. Посмотрела на него – не сердито, не вызывающе, а с тем особым выражением, которое Дима за двенадцать лет брака научился узнавать, как узнают собственное отражение: спокойная решимость, замешанная на любви, – коктейль, который Катя подавала без сахара.

– Нет, Дима. Я справлюсь. Нормальным способом.

Он хотел возразить, но знание – тихое, привычное, как пульс – сказало ему: она права. Она справится. Не потому что он знает, а потому что она может.

– Хорошо, – прохрипел он и откинулся на подушку.

Катя готовилась всю субботу и всё воскресенье. Обеденный стол превратился в штабной: папки с закладками, выписки из кадастрового реестра, копии договоров, распечатки судебных решений – страницы с подчёркиваниями жёлтым маркером, с пометками на полях, с восклицательными знаками там, где аргумент был особенно острым. Таня приносила ей чай каждые два часа – молча, ставила кружку на край стола, так, чтобы не задеть бумаги, и уходила. Тая дважды заглянула, постояла в дверях с руками в карманах, посмотрела на маму тем взрослым, внимательным взглядом, от которого Кате иногда хотелось сказать: «Тебе четырнадцать, хватит смотреть так, будто тебе сорок», – и тоже ушла, не сказав ни слова.

В воскресенье вечером Катя закрыла последнюю папку, вышла из-за стола, потянулась – позвоночник хрустнул, как сухая ветка – и сказала негромко, не обращаясь ни к кому:

– Готова.

Из гостиной донёсся Димин хрип:

– Я мог бы...

– Суд удаляется на совещание, – ответила Катя его же фразой, и из детской послышался Танин смех – тихий, заговорщицкий, смех человека, который слышит больше, чем ему говорят.

* * *

В зале пахло тем же линолеумом и хлоркой, что и во всех залах этого суда, но Кате казалось, что запах сегодня острее – или это её собственные нервы обострили всё: свет, звук, фактуру деревянной скамьи под ладонями, скрип стула, когда она села за стол защиты, привычный скрип, который Дима, наверное, слышал десятки раз и перестал замечать, а она слышала впервые – не этот конкретный стул, а этот конкретный момент: она за столом, одна, без Димы, без его знания, без тихой подсказки, брошенной через плечо, – одна со своим умом, со своей памятью, со своей способностью видеть то, что видят все, и находить в этом то, что не видит никто.

Судья был другой – не Черкасов, а Мельникова, женщина с короткой стрижкой и привычкой снимать очки перед тем, как задать неудобный вопрос. Оппонент – молодой адвокат, имени которого Катя не запомнила, потому что его аргументы были так шаблонны, что запоминать было нечего: право давности, фактическое пользование, устный договор – всё стандартно, всё предсказуемо, как расписание электрички.

Катя работала так, как работала всегда, когда дело касалось документов, – с той же точностью, с какой часовщик разбирает механизм: ничего лишнего, ничего упущенного. Она нашла ошибку в договоре аренды – дата заключения не совпадала с датой регистрации юридического лица арендатора, которое на момент подписания попросту не существовало, – и предъявила это не как удар, а как вопрос, мягкий и неотвратимый, так что молодой адвокат, запинаясь, попросил перерыв, а Мельникова, сняв очки, посмотрела на Катю тем долгим оценивающим взглядом, который между женщинами значит больше, чем любой комплимент.

Она привела три прецедента, каждый – с номером дела, датой решения и ключевой цитатой из мотивировочной части, и каждый ложился в её конструкцию так точно, как ключ в замок. Она не ораторствовала – говорила ровно, чётко, без пауз ради эффекта и без жестов ради драмы. Она не работала как Дима – не вытягивала признания из свидетелей, не играла в фокусника и не делала вид, что знает больше, чем знает. Она была тем, чем была: блестящим аналитиком, для которого закон не мистика, а механизм, и она знала этот механизм лучше, чем большинство из тех, кто клялся на Конституции.

Решение в пользу клиента было вынесено за сорок минут – рекордно быстро, потому что, как сказала Мельникова, «позиция защиты исчерпывающая, и суд не видит оснований для затягивания».

Клиент Рогов – кряжистый мужчина с загорелыми руками автомоечного магната – жал ей руку с такой силой, что Катя ещё час чувствовала его ладонь на своей.

Она вышла из здания суда – мартовский воздух, пахнувший талым снегом и бензином, серое небо, из которого не то идёт дождь, не то нет, – села в машину, положила руки на руль и три минуты сидела неподвижно, глядя через лобовое стекло на парковку, где серебристый Ford Focus (их Ford Focus, купленный полгода назад взамен старой «девятки», которая не столько ездила, сколько сопротивлялась небытию) блестел каплями мелкого дождя.

Три минуты. Дыхание – ровное. Сердце – быстрое, но не от страха, а от чего-то другого, чему Катя подбирала слово и не могла подобрать, пока не поняла: это радость. Чистая, без примесей, без «но» и «зато» – радость человека, который сделал то, что умеет, и сделал хорошо. Без мистики. Без подсказок. Без знания, пришедшего неоткуда. Своим умом, своим трудом, своими руками.

Она достала телефон – Nokia, такая же серая и тяжёлая, как у Димы, потому что они покупали в одном магазине и ни один из них не считал нужным платить за дизайн, – и набрала номер.

* * *



Дима снял после первого гудка. Он лежал на диване, температура упала до тридцати семи и трёх, но голос по-прежнему звучал так, будто его пропустили через наждак. Рядом сидела

Тая – делала уроки на подлокотнике дивана, используя отца как мебель, что его не возмущало, а скорее льстило.

– Выиграла, – сказала Катя, и её голос в трубке был ровным, но Дима – который слышал не ухом, а чем-то более точным – различил в этом ровном голосе вибрацию, тонкую, как струна, задетая мизинцем.

– Я знаю, – ответил он.

Пауза. Не неловкая, не театральная – рабочая, необходимая, как вдох между двумя тактами.

– Не потому что *ты* знаешь, – сказала Катя. – Потому что *я* выиграла.

Дима закрыл глаза. Тая рядом подняла голову от тетради и посмотрела на отца – она не слышала Катиных слов, но видела его лицо, и на этом лице было выражение, которое Тая помнила с детства и которое видела редко: не знание, не уверенность, а что-то иное – гордость, лишённая покровительства, чистая, как весенний воздух за окном.

– Именно поэтому я и знал, – сказал Дима хрипло, и Катя на том конце провода улыбнулась, и улыбка эта отразилась в лобовом стекле Ford Focus, по которому ползли мартовские капли, каждая – с крошечным перевёрнутым отражением серого неба.

Она не была мостом. Не была якорем. Не была «нормальной среди ненормальных» – она давно устала от этого определения, которое звучало как комплимент, а ощущалось как шкаф, в который тебя запирают с табличкой на двери. Она была тем, чем была: человеком, который умеет. Не видеть будущее, не слышать чужие мысли, не знать без оснований – а находить основания там, где другие видят хаос, складывать факты, как Тая складывала кубик Рубика в детстве, – терпеливо, методично, пока все грани не совпадут.

Мост – это тот, без кого два берега не встретятся. Но она была не мостом. Она была парусом, который несёт лодку, пока остальные слушают ветер.

Катя завела мотор, включила дворники и выехала с парковки. По радио пела Земфира – «Искала», из нового альбома, и мелодия ложилась на ритм дворников так точно, словно была написана для мартовского вождения по Москве, для женщин, которые только что выиграли суд без подсказок и едут домой к мужу с ангиной и дочерям с дарами, и знают, что их ждут пельмени, которые ещё нужно слепить, потому что магазинные – это не пельмени, а оскорбление для теста.

* * *

Переезд случился в июне – из Бутово, где стены помнили первые московские ночи и сигаретный окурок на подоконнике, в новостройку ближе к центру, с видом на парк, с лифтом, который не пах кошками, и с отдельной комнатой для каждой дочери. Гонорары Димы за последний год позволяли не только это – они позволяли выбирать, а выбор для семьи, привыкшей экономить на всём, от зубной пасты до отпуска, был роскошью более пьянящей, чем любая покупка.

Квартира пахла штукатуркой, свежей краской и возможностями. Тая ходила по комнатам, трогая стены кончиками пальцев – осторожно, через рукав толстовки, потому что новые стены молчали, у них не было истории, и это молчание было таким непривычным, таким оглушительно чистым, что Тая остановилась посреди будущей спальни и выдохнула, как выдыхают после долгого нырка.

– Здесь тихо, – сказала она.

– Здесь голые стены, конечно, тихо, – отозвалась Катя из кухни, пересчитывая розетки с видом полководца, оценивающего позиции. – Четыре розетки. Четыре. Кто проектировал эту кухню? Человек, который никогда не готовил?

– Может быть, человек, который питался исключительно духовной пищей, – предположила Таня, сидя на подоконнике с ногами и глядя во двор, где рабочие таскали мешки с цемен-

том и думали – она это слышала, привычно, фоновое, как городской шум – о зарплате, о пиве, о футболе, о жене, которая опять звонила три раза. Обычные мысли. Тёплые. Не громкие.

– Я хочу зелёные обои, – объявила Тая из своей комнаты. – Мятные.

– А я – тёмно-синие, – сказала Таня. – Как ночное небо. Можно со звёздами.

– Звёзды – это фосфоресцирующие наклейки из магазина «Всё по пятьдесят», – уточнила Катя. – Не обсуждается, я видела, как они отваливаются через месяц.

– Зато месяц – красиво, – возразила Таня, и Катя махнула рукой, потому что этот аргумент был непробиваемым: месяц красиво – это всё-таки месяц.

Дима стоял в дверях того, что станет его кабинетом, – маленькая комната с единственным окном, выходящим на парк, – и прикидывал, куда поставить стеллаж, куда – стол, а куда – кресло, в котором он будет сидеть вечерами, записывая в зелёную тетрадь наблюдения, которые с каждым годом становились всё короче, потому что дары дочерей стабилизировались, а тревога – нет.

Он начал откладывать деньги. Не на отпуск, не на машину, не на ремонт – на «всякий случай». На «если придётся». Отдельный счёт, о котором знала только Катя, – «подушка», как они это называли, хотя подушка подразумевает сон, а этот счёт подразумевал бегство. Катя заметила на третьем месяце:

– Ты откладываешь, будто собираешься в дорогу.

Дима переклеивал обои в детской – мятные, как хотела Тая, – и ответил, не оборачиваясь:

– Так, мысли вслух.

Катя не стала переспрашивать. Она знала его «мысли вслух» – знала, что за ними стоит не мысль, а знание, глухое и тяжёлое, как стук в дверь посреди ночи. Она молча подошла и прижала ладонь к его спине – между лопатками, туда, где, по её убеждению, у Димы хранилось всё, что он не произносил вслух. Он замер с валиком в руке. Постоял так секунду, две. Потом продолжил клеить.

На новый подоконник в кухне Катя перенесла стикер – тот самый, жёлтый, с надписью «Мы обычная семья». Отклеила с бутовского подоконника аккуратно, как реставратор снимает фреску, и приклеила на новое место. Один край загнулся. Бумага была тоньше, чем два года назад. Но держалась.

* * *

Клиента звали Вершинин. Дима не любил давать характеристики по первому впечатлению, но знание, которое приходило помимо воли, рисовало портрет точнее любых слов: человек, привыкший покупать людей, и удивляющийся, когда кто-то оказывается не продажным, а просто дорогим.

Встреча произошла через неделю после успешного завершения дела – Вершинин, собственник сети автосервисов «ВершинАвто», был другом клиента, которого Дима вытащил из-под обвинения, и пришёл по рекомендации. Кабинет Димы на Мясницкой – арендованный, небольшой, с окном на внутренний двор, – утром пах свежесваренным чаем и Катиними духами: она только что закончила с документами для другого клиента и ушла, оставив после себя аромат, порядок в папках и записку на столе: «Позвони в БТИ, они опять потеряли справку. Целую».

Вершинин был из тех мужчин, чей возраст определяется не по лицу, а по рукам: лицо – молоджавое, подтянутое, с загаром, выдающим регулярные поездки на юг, – а руки – тяжёлые, жилистые, с заусенцами, какие бывают у людей, начинавших с гаечного ключа. Он сидел в кресле, закинув ногу на ногу, и говорил с Димой тем тоном, который бизнесмены средней руки принимают за дружеский, а Дима принимал за то, чем он был: разведкой.

– Дмитрий Михайлович, я к вам не по делу. То есть по делу – но по другому. – Вершинин улыбнулся улыбкой человека, привыкшего, что его улыбки открывают двери. – Мне Черников рассказал, как вы работаете. И Постников. И ещё четверо. Знаете, что все говорят?

– Догадываюсь.

– Что вы всегда знаете, чем кончится. Каждый раз. Без исключений.

Дима промолчал – не потому что нечего было сказать, а потому что молчание в этот момент было единственно верным ответом, и он это знал. Молчание, в котором собеседник видит то, что хочет видеть: скромность, или загадочность, или подтверждение – что угодно, лишь бы не правду.

Вершинин наклонился вперёд, и его глаза – карие, острые, глаза человека, который считает деньги быстрее калькулятора – загорелись тем особым огнём, который Дима научился узнавать давно, ещё в Тольятти, ещё когда был молодым и менее уставшим: огнём человека, увидевшего инструмент и уже подсчитывающего прибыль.

– Представьте, Дмитрий Михайлович, если направить это на бизнес. Не суды – бизнес. Инвестиции, тендеры, кадровые решения. Вы бы стоили целого аналитического отдела. Я готов предложить постоянное сотрудничество. Контракт. Цифру назовёте сами.

Тишина в кабинете была другой, чем в зале суда: здесь она не давила – она ждала, как ждёт ловушка с открытой дверцей.

Дима посмотрел на Вершинина – долго, спокойно, тем взглядом, от которого некоторые свидетели начинали ёрзать на стуле, а некоторые – говорить правду, сами не понимая почему. Вершинин не ёрзал и правду не говорил, но огонь в его глазах чуть потускнел – не от страха, а от ощущения, смутного и необъяснимого, что он просит о чём-то, чего не понимает.

– Я подумую, – сказал Дима с улыбкой, за которой стояло «нет» такой плотности, что его можно было бы резать ножом.

Вершинин ушёл, оставив визитку – глянцевую, с золотым тиснением, пахнущую типографской краской и амбициями. Дима положил её в ящик стола, к другим визиткам, которые никогда не доставал, и подумал о первом правиле: дар – только для защиты и помощи близким, не для выгоды.

Правило, записанное и сожжённое в девяносто втором, в другом городе, в другой жизни. Правило, которое он нарушал каждый день – потому что его дар приносил гонорары, и гонорары были выгодой, а выгода была нарушением, и это нарушение было необходимостью, потому что семью нужно кормить, детей – одевать, а «подушку» – наполнять.

Первое правило, – подумал он, закрывая ящик. – Интерпретация: дар для защиты семьи. Финансовая устойчивость – форма защиты. Аргументация допустима. Но прецедент опасен: сегодня – защита, завтра – оракул для Вершинина, послезавтра – инструмент для кого-нибудь пострашнее. Линия тонкая. Не переступать.

Он открыл зелёную тетрадь, нашёл чистую страницу и записал, коротко, как протокол:

«14.09.2003. Предложение от клиента В. – постоянное консультирование бизнеса на основе „интуиции“. Отказ. Первое правило. Тенденция: репутация растёт. Контролировать».

* * *

Кравцова позвонила в октябре, в среду, когда Дима забирал Таню из школы – Катя была на встрече с клиентом, а Таня после шести уроков и факультатива по литературе выглядела так, словно её пропустили через стиральную машину: бледная, с тенями под глазами и привычкой тереть виски, которая означала, что скафандр трещал весь день, и двадцать восемь подростковых мозгов орали каждый своё, и Ахматова не помогала, и даже Бродский, обычно работающий как ментальный бронежилет, сегодня давал осечку.

Таня сидела на заднем сиденье Ford Focus, привалившись виском к стеклу, и телефон в кармане Диминого пиджака зазвонил, когда они стояли в пробке на Профсоюзной – бесконечной, бессмысленной, составленной из машин, каждая из которых была маленьким мирком с радио, запахом ёлочки-освежителя и водителем, думающим о своём.

– Лариса Николаевна, – сказал Дима, увидев номер, и Таня на заднем сиденье чуть повернула голову, но не открыла глаз: она слышала имя, знала, кто это, и знала, что отец скажет ей потом то, что можно сказать, а остальное – оставит в зелёной тетради.

– Дмитрий Михайлович, – Кравцова говорила тише обычного, и в её голосе, за привычной виолончельной глубиной, проступала новая нота, похожая на тень от облака: не темнота, но предупреждение о ней. – Коротко. Крюков перешёл на новый уровень. Мягкий мониторинг – подтверждено. Несколько семей из нашего круга – под наблюдением. Не слезка, не давление – скорее, инвентаризация. Он знает, кто где. И хочет, чтобы мы знали, что он знает.

– Как кот, – сказал Дима.

– Что?

– Как кот, который трётся о ногу. Не нападает, но показывает, что знает, где ты живёшь.

Кравцова помолчала – и в этом молчании Дима услышал то, чего не было в словах: усталость. Не физическая, а другая – усталость человека, который много лет несёт ответственность за людей, чей единственный грех состоит в том, что они родились не такими, как все.

– Точная метафора, – сказала она наконец. – Что делаем?

– Живём. Но помним.

– Дмитрий Михайлович... будьте аккуратнее с публичностью. Ваша репутация – она замечательная, но она – маяк. А маяки видны издалека.

Дима посмотрел в зеркало заднего вида. Таня на заднем сиденье дышала ровно, но не спала – её пальцы едва заметно двигались, как будто она писала что-то в воздухе, и Дима знал, что она сочиняет стихи – или повторяет чужие, создавая вокруг себя тот ритмический кокон, внутри которого чужие голоса стихали.

– Спасибо, Лариса Николаевна.

– Берегите девочек.

Она положила трубку. Дима положил телефон на пассажирское сиденье, лицом вниз, – привычка, о которой он не задумывался: экран вниз, чтобы не видеть, если позвонят снова. Пробка двинулась – на метр, на два, – и снова замерла, и Москва за окном жила своей жизнью: строительные краны на горизонте, рекламный щит с надписью «Быстрые кредиты – без залога!», маршрутка, набитая людьми, как банка шпротами, и каждый из этих людей думал о своём, и Таня за спиной слышала всё это через стекло, через металл, через расстояние, и молча – губами, не голосом – повторяла строчки, которые были её бронёй:

Мне голос был. Он звал утешно, он говорил: «Иди сюда, оставь свой край, глухой и грешный, оставь Россию навсегда».

Ахматова. Которая писала о другом, но попадала – в это, сейчас, в Ford Focus на Профсоюзной, – с точностью, доступной только поэтам и телепатиям.

– Пап, – сказала Таня, не открывая глаз.

– Да.

– Окурков больше не было?

Дима посмотрел в зеркало. Танино лицо – бледное, с закрытыми глазами, с тенями усталости – было спокойным, но вопрос звучал так, как звучат вопросы людей, которые знают ответ и всё равно спрашивают, потому что иногда нужно услышать его вслух.

– Не было, – сказал Дима.

– Но будут?

Он мог бы солгать. Мог бы сказать «нет» или «не знаю» или «не думай об этом». Но Таня слышала мысли, а его мысли – пусть тише, чем у большинства людей, – всё равно были мыслями, и ложь в голове звучит иначе, чем правда: ложь – скрипит, как мел по стеклу, а правда – гудит, низко и ровно, как натянутая струна.

– Возможно, – сказал он. – Но мы готовы. Мы всегда готовы.

Таня открыла глаза и посмотрела на него в зеркале. Потом раскрыла ладонь – у бедра, внизу, где водитель впереди не увидит – «нормально». Дима кивнул. Пробка сдвинулась ещё на метр, и они поехали дальше, медленно, через город, который рос вокруг них, как лес – вверх и вширь, обрастая стеклом, бетоном, рекламой и камерами, и в этом лесу становилось всё труднее быть невидимым.

Вечером, когда Таня уснула – по-настоящему, наконец, со стихами вместо снотворного и наушниками от CD-плеера, из которых еле слышно пробивался Бродский в исполнении кого-то с бархатым басом, – Дима сел за стол в кабинете и открыл зелёную тетрадь.

«22.10.2003. Звонок Кравцовой. Подтверждено: мониторинг. Не целенаправленная угроза – системный контроль. „Кот, который трётся о ногу“. Предупреждение о публичности – принято. Меняю тактику: не прятаться, но и не высовываться. Баланс. Надолго ли хватит – вопрос».

Он закрыл тетрадь и посидел в тишине кабинета, слушая, как за стеной дышит семья: Катя перелистывает страницы в спальне, Тая пишет в блокнот – перо по бумаге, еле слышный шелест, – Таня спит, и её сон, в кои-то веки, – тихий. За окном – парк, октябрьский, с голыми ветками и фонарём, который раскачивался на ветру, бросая на стены кабинета тени, похожие на буквы неизвестного алфавита.

* * *



На кухне горел свет – один, верхний, тёплый, с желтизной, от которой все предметы казались мягче, чем были: и стол, и табуретки, и Катин фартук на крючке, и стикер на подоконнике, желтеющий в тон лампе, почти незаметный, почти сросшийся со стеной.

Катя мыла посуду. Она предпочитала мыть руками, хотя в новой квартире была посудомойка – её установил прежний владелец, и Катя использовала её для хранения пакетов с крупой, что, по мнению Димы, было актом столь же дерзким, сколь и практичным.

Он стоял у дверного косяка, привалившись плечом, – поза, в которой провёл, наверное, сотни вечеров за двенадцать лет брака: не внутри кухни и не снаружи, а на границе, на пороге, откуда видно и комнату, и коридор, и, если повернуть голову, – приоткрытые двери детских.

– Мы становимся слишком заметными, – сказал он.

Катя не обернулась. Её руки – в жёлтых перчатках, мокрые, в хлопьях пены – продолжали двигаться: тарелка, губка, вода, тарелка, губка, вода, – ритм, который был старше их брака и, возможно, старше их обоих.

– Слава – плохой союзник для тех, кто прячется, – продолжил Дима.

– Ты предлагаешь проигрывать дела?

– Я предлагаю... реже побеждать. Или побеждать тише.

Катя выключила воду. Звук капель из крана – редких, тяжёлых, каждая с отдельным «тук» по дну раковины – заполнил кухню. Она стянула перчатки, положила на край раковины и обернулась, и Дима увидел её лицо – не уставшее, не испуганное, а сосредоточенное, с тем выражением, которое за двенадцать лет он научился ценить больше любого дара: взгляд человека, который видит тебя без мистики, просто потому что любит, и потому – видит точнее, чем любое ясновидение.

– Стоп-кадр, – сказала Катя.

Дима замолчал.

– Сегодня – ты выиграл дело. Я – выиграла дело. Тая получила пятёрку по истории, Таня написала стихотворение, которое мне прочитала перед сном, и я ничего не поняла, но оно было красивое. Дети живы-здоровы. Мы живы-здоровы. У нас есть квартира, в которой четыре розетки на кухне, что мало, но терпимо. Достаточно побед на один день?

Дима смотрел на неё. Потом – на стикер на подоконнике. Потом – снова на неё.

– Достаточно, – сказал он.

Катя кивнула, включила чайник – щелчок кнопки, нарастающий гул, привычный, как сердцебиение дома, – и достала две кружки: его – белую, из «Ашана», с трещинкой на ручке, которая не мешала, но придавала кружке характер; свою – «Лучшей маме на свете», пережившую три переезда и одиннадцать Таниных столкновений с посудной полкой.

Они сидели за столом друг напротив друга, пили чай, и молчали, и в этом молчании было всё, что нужно было сказать, и ничего лишнего. За окном – московская ночь, фонари, мокрый асфальт, далёкая сирена «скорой», которая то приближалась, то удалялась, как маятник чужой беды. Парк за домом чернел, и голые ветки клёнов рисовали на фоне облачного неба сеть, тонкую и сложную, как нервная система города, который не спит, потому что не умеет.

Обычный вечер их обычной семьи – с чаем, с трещинкой на кружке, с четырьмя розетками, с дочерьми за стенкой и дверью между комнатами, приоткрытой ровно на ширину шёпота.

Катя допила чай, поставила кружку в раковину и, проходя мимо Димы, положила руку ему на плечо – коротко, привычно, как ставят подпись под документом, который и так действителен, просто чтобы подтвердить.

Дима остался на кухне один. Допил свой чай. Вымыл обе кружки – и свою, и её, – и поставил сушиться на полотенце рядом с раковиной: его – слева, её – справа, как стояли всегда, на каждой кухне, в каждой квартире, в каждом городе.

Потом выключил свет.

Постоял в темноте, как стоял неделю назад, и месяц назад, и будет стоять завтра, – прислушиваясь к тому, что нельзя услышать ухом, но нельзя и не услышать, если ты – это ты. Тишина. Город за окном. Дыхание семьи за стенами. Скрип кровати – Таня повернулась во сне. Шелест страницы – Тая ещё читает, хотя ей давно пора спать.

И где-то далеко – не в пространстве, а в том измерении, которое доступно только знанию, – тихий, мягкий, терпеливый звук: шаги кота, который трётся о ногу. Который не нападает. Но знает, где ты живёшь.

Дима закрыл кухонную дверь, проверил замок на входной – два оборота, как всегда, – и пошёл спать. Утром будут новые дела, новые клиенты, новые победы, которых, возможно, должно быть меньше, – и новая запись в зелёной тетради, и новый день обычной семьи, которая обычной не была, не будет и, наверное, никогда не должна была быть.

Мы обычная семья.

Стикер на подоконнике белел в темноте – маленький, выцветший, упрямый, как всё, что Катя приносила в этот дом: не мистику, не знание, не дар – а веру в то, что иногда достаточно просто сказать слова, чтобы они стали правдой. Хотя бы на один вечер. Хотя бы до утра.

Глава 3. Серые мышки

Есть только два способа прожить жизнь: первый – будто чудеса не существует, второй – будто кругом одни чудеса.

Утро начиналось со сменки.

Таня ненавидела сменку не за обувь, а за сам ритуал: пакет с кроссовками в левой руке, рюкзак на правом плече, куртка расстёгнута, потому что в вестибюле школы всегда стояла жара, как в прачечной, а за дверью уже держались минус три и ветер с той стороны бульвара, который нёс запах бензина, мокрых листьев и чебуреков из ларька на углу. Ноябрь две тысячи третьего. Москва. Восемь пятнадцать. Школа гудела так, будто в каждую голову вставили отдельный динамик и забыли убавить звук.

Таня привалилась к стене у гардероба и закрыла глаза на три секунды, пока Тая рядом переобувалась с методичностью хирурга, готовящегося к операции: правую сняла, левую надела, правую надела, левую в пакет, пакет в рюкзак, молнию закрыла. Руки – в карманы. Всё. Готова.

– Ты как? – спросила Тая, не оборачиваясь.

– Громко, – ответила Таня. Одно слово, которое между ними значило: двести шестьдесят радиоприёмников, настроенных на разные станции, и все орут. «Где мой учебник...», «если Ленка опять сядет с Мишкой...», «контрольная, контрольная, Господи, контрольная...», «а он мне вчера написал...», «жрать хочу...» – подростковые мозги фонили на полную, безо всякого стеснения, безо всякого представления о том, что кто-то может слышать, и этот шум был не внешним, а внутренним, как зубная боль, которую нельзя ни выплюнуть, ни проглотить.

Таня беззвучно повторила: «Я научилась просто, мудро жить, смотреть на небо и молиться Богу...» – и фон чуть приглух, не исчез, но отступил на полшага, как толпа, которая вдруг решила дать тебе вздохнуть.

– Ахматова? – спросила Тая, уже зная ответ.

– Она работает лучше алгебры, – Таня открыла глаза и усмехнулась той усмешкой, от которой не поймёшь – шутит или жалуется.

Они пошли по коридору – вместе, плечо к плечу, как ходили всегда: Тая чуть впереди, Таня – в полушаге сзади. Система. Глаза и уши. Две сестры, которые со стороны выглядели как любые две сестры – школьницы, рюкзаки, кроссовки, одна повыше, другая повеселее, – и ни один человек в этом коридоре, включая завуча Раису Максимовну с её манерой замечать всё, кроме того, что нужно, не подозревал, что одна из них видит прошлое через прикосновение, а другая слышит каждую мысль в радиусе двадцати метров.

Серые мышки живут по трём правилам: не выделяйся; если выделилась – объясни; если объяснить невозможно – смейся. Цена билета в обычную жизнь была ежедневной, мелкой, привычной ложью, которая со временем становилась не ложью, а формой дыхания, и ты переставала замечать, что дышишь не полной грудью.

В рюкзаке у Таи, между учебником истории и тетрадью по алгебре, лежал карманный блокнот – маленький, в клеточку, с загнутыми углами. На первой странице, аккуратным почерком, цитата, которую Тая переписала вчера вечером: «В судьбе нет случайностей; человек скорее создаёт, нежели встречает свою судьбу». Вильмен. Тая не была уверена, что согласна – но цитата звучала красиво, а красивое, как и правдивое, имело право на существование.

В рюкзаке у Тани, рядом с пеналом и мятой обёрткой от «Сникерса», лежал другой блокнот – тоже маленький, но не с цитатами, а со стихами. Своими. Написанными мелким, летящим почерком, с зачёркиваниями и стрелками, потому что стихи у Тани рождались не построчно, а клубками, из которых потом приходилось вытягивать нить. На последней странице – четве-

ростишие, записанное вчера перед сном: «В чужих головах – как в чужих квартирах: везде пахнет по-разному, и ни одна – не твой дом».

Звонок на первый урок ударил по нервам, как всегда, – механический, беспощадный, из тех звуков, которые школа делает громкими не по необходимости, а из принципа. Сёстры разошлись: Тая – на третий этаж, к кабинету истории, Таня – на второй, к алгебре. У лестницы Таня подняла ладонь на уровне бедра – раскрытую. Тая ответила тем же.

Обычное утро. Обычная школа. Обычные девочки. Если не присматриваться.

* * *



Экскурсия в Третьяковскую галерею была назначена на четверг, и Тая знала о ней за неделю – не по дару, а из расписания, вывешенного на стенде у учительской, что в данном случае было надёжнее любого ясновидения.

Она готовилась. Не к экскурсии – к себе. Музеи были опасной территорией: старые предметы фонили историей, и каждый шаг мимо витрины мог обернуться чужим прошлым, непрошеным и оглушительным. Тая научилась ставить между собой и миром стеклянную перегородку – прозрачную, но плотную, – и обычно это работало. Обычно.

Автобус пах бензином и жвачкой. С крошечного экрана чьего-то телефона по MTV крутили «Нас не догонят» – качество звука было такое, словно песню записали в консервную

банку, но это никого не смущало. Алёна сидела рядом с Тасей, грызла колпачок ручки и листала путеводитель по галерее, купленный в газетном киоске за сорок рублей.

– Ты в Третьяковке раньше была? – спросила Алёна.

– Один раз, с родителями, – ответила Тая, что было правдой: они ходили летом, и Тая весь визит продержала руки в карманах, а когда случайно задела витрину с берестяной грамотой, увидела руки монаха, скрип пера, запах дыма и чернил, и потом двадцать минут сидела на лавочке в фойе, приходя в себя и объясняя маме, что у неё просто закружилась голова от духоты.

– Там есть «Утро в сосновом лесу», – сообщила Алёна. – Медведи которые. Мишки на конфетах.

– Шишкин и Савицкий, – кивнула Тая. – Медведей написал Савицкий, а Шишкин – лес. Но Третьяков купил картину у Шишкина и стёр подпись Савицкого.

Алёна посмотрела на неё поверх путеводителя.

– Откуда ты это знаешь?

– Из «Вопросов искусствоведения», – сказала Тая ровно. – Прошлогодний номер.

Алёна прищурилась – едва заметно, привычка, которая проявлялась всякий раз, когда Тая выдавала информацию, не вписывающуюся в образ обычной девятиклассницы, – но ничего не сказала и вернулась к путеводителю. Колпачок ручки хрустнул в её зубах, уже надломленный.

В галерее пахло паркетом, старым лаком и чем-то неуловимо торжественным – воздухом, который пропитался столетиями чужих взглядов и чужого восхищения, и этот воздух был плотнее обычного, Тая ощущала его кожей, как лёгкое давление на лицо и руки. Она держала кулаки в карманах куртки, которую не стала сдавать в гардероб, сославшись на то, что мёрзнет, – и экскурсовод, пожилая женщина с брошью в виде павлина на лацкане жакета, не стала спорить.

Зал древнерусской живописи был небольшой и тихий, с низким потолком и приглушённым светом, от которого иконы казались ещё старше, чем были, – не экспонатами, а окнами в другое время, тёмными и тёплыми одновременно. Экскурсовод говорила ровно, с выученной монотонностью, перечисляя даты и имена, как диктор на вокзале перечисляет станции: точно, бесстрастно, с лёгкой усталостью от повторения.

Тая шла в заднем ряду группы. Руки – в карманах. Стеклянная стена – на месте. Всё под контролем.

Она прошла мимо Богоматери Владимирской – ничего. Мимо деисусного чина – лёгкое покалывание в пальцах, но терпимое, как статическое электричество. Мимо малого распятия – тишина, только запах ладана, еле уловимый, которого, возможно, не было, а возможно – был, потому что дерево помнит всё, что впитало.

А потом – Николай Чудотворец.

Икона была небольшая, в витрине под стеклом, с потемневшим левкасом и трещинами, похожими на карту реки, которая текла сквозь века. Тая остановилась перед ней – не по своей воле, а потому что ноги остановились сами, как останавливаются перед порогом, за которым что-то есть. Тепло пришло не снаружи – изнутри, из солнечного сплетения, медленной горячей волной, поднимающейся к горлу, к глазам, к кончикам пальцев, которые в карманах куртки сжались в кулаки так, что ногти впились в ладони.

Она стояла, не касаясь витрины. Между её ладонью и деревом было стекло, воздух, двадцать сантиметров пространства. Но пространство – не стена. Не для этого.

И Тая увидела. Не глазами – тем внутренним экраном, который включался без спроса и показывал то, что никто не просил видеть: мастерскую, тесную, с запахом олифы и яичного желтка, с маленьким окном, в которое бил зимний свет, белый и резкий. Человек – немолодой, с бородой, с руками, покрытыми пятнами краски, – наклонился над доской, и кисть в его паль-

цах двигалась мелкими, точными мазками, как двигается перо по бумаге, когда пишут что-то важное. За его спиной – другой человек, в шубе, с тяжёлым крестом на груди, говорил: «Для Никольского, Фёдор. К Рождеству успеешь?» И мастер кивал, не оборачиваясь, потому что оборачиваться означало прервать линию, а линия была всем.

Тая произнесла это вслух – тихо, но отчётливо, голосом, который стал на полтона ниже и ровнее обычного:

– Мастер Фёдор. Тысяча четыреста семьдесят второй. Заказ воеводы Семёна Борисовича для Никольского придела.

Тишина – мгновенная, хирургическая, словно кто-то выключил звук в зале. Экскурсовод замолкла на полуслове и повернулась, и её очки блеснули в приглушённом свете, как два маленьких прожектора. На табличке рядом с иконой – Тая видела краем глаза, хотя глаза её были всё ещё чуть стеклянными, не до конца вернувшимися из пятнадцатого века, – значилось: «Неизвестный мастер, вторая половина XV века».

Тридцать пар глаз. Тридцать школьников, которые секунду назад думали о чебуреках, телефонах и контрольной по физике, и вдруг – все, одновременно – смотрели на неё.

Алёна, стоявшая в полушаге справа, не шевелилась. Её взгляд – острый, цепкий, как объектив фотоаппарата с мгновенным фокусом – зафиксировал всё: и Таин голос, и стеклянные глаза, и слова, которых не могло быть.

– Откуда вы это знаете, девушка? – спросила экскурсовод, и в её голосе было не раздражение, а то осторожное любопытство, с которым разглядывают находку непонятного происхождения.

Лёд прошёл по позвоночнику. Стеклянная стена встала на место – резко, как захлопнувшаяся дверь, – и Тая снова была здесь, в музее, в ноябре две тысячи третьего, пятнадцатилетняя школьница с руками в карманах и лицом, которое за долю секунды превратилось из маски в обычное лицо обычной девочки.

– Мы в прошлом году реферат писали, – сказала она, и голос был уже её, нормальный, с лёгкой ноткой учтивости, которую Дима назвал бы «тон свидетеля, уверенного в показаниях». – По источникам шестнадцатого века. Нестеренко, «Иконостасы Северо-Восточной Руси», девяносто четвёртый год, приложение. Там было косвенное упоминание – через описание имущества Никольского придела. Мелким шрифтом.

Она не знала, существует ли этот источник. Имя «Нестеренко» всплыло само – откуда-то из тех глубин, где знание живёт без ярлыков и каталожных номеров, – и прозвучало с такой уверенностью, что экскурсовод кивнула, поджав губы, и вернулась к лекции, бормоча что-то о «замечательной подготовке современных школьников».

За спиной одноклассника, слева, мелькнул жест: Таня – ладонь горизонтально вниз. *Рядом чужие, осторожно.* Тая едва заметно кивнула. Потом – мизинец вбок от Тани. Тая ответила тем же, и обе чуть-чуть улыбнулись, потому что ситуация была абсурдной: ясновидящая в музее, как пироман на бензоколонке.

На обратном пути, в автобусе, который пах бензином ещё гуще, чем по дороге сюда, Таня села рядом с Таей и шепнула, почти не размыкая губ:

– Нестеренко?

– Первое, что пришло в голову.

– А если проверят?

– В интернете «Иконостасы Северо-Восточной Руси» выдаёт три результата. Все – библиографические ссылки без полного текста. Никто не поедет в Ленинку ради одной детали.

– Логично, – сказала Таня Таиной интонацией.

– Это моё слово, – Тая улыбнулась.

– Громко думаешь, – ответила Таня и натянула наушники, из которых просочился тонкий голос Земфиры, едва различимый за гулом мотора.

Алёна сидела через два ряда впереди. Не оборачивалась. Но колпачок ручки, который она грызла, треснул пополам, и Алёна, посмотрев на обломки, аккуратно убрала их в карман – как улику.

* * *



На контрольной по алгебре Таня списала – не с бумажки, не у соседа, не из учебника, спрятанного под партой: она списала из головы Ольги Петровны, и это было одновременно проще и страшнее любой шпаргалки. Ольга Петровна, седовласая и строгая, с привычкой расхаживать между рядами, как надзиратель в тюрьме, проверяла работу Серёжи Ларина за соседней партой, и в её голове – чётко, ярко, как текст на экране – вспыхнуло: *формула, подстановка, ответ. Правильно. Молодец, Ларин*. И Таня записала – автоматически, как диктант, рука сама выводила цифры, привычная к этому движению, пальцы знали дорогу от мысли к бумаге, от чужой мысли к своей тетради.

Потом она остановилась. Ручка замерла. Таня посмотрела на свою тетрадь, на ровные строчки, на безупречное решение, которое ей не принадлежало, и почувствовала тот привычный привкус во рту – не горечь, не стыд, скорее, привкус металла, как от монетки, положенной на язык, – привкус, который появлялся каждый раз, когда чужое знание становилось её собственным без спроса.

Она взяла ручку, вернулась к третьей строке и нарочно перенесла минус не в ту сторону. Ошибка – мелкая, правдоподобная, из тех, что делают все, кто торопится. Потом пересчитала: ответ изменился. Неправильный. Красивый, убедительный, но неправильный.

Четвёрка вместо пятёрки. Цена серой мышки – один балл. Ежедневная мелкая ложь, направленная не наружу, а внутрь: ты можешь быть лучше, но не должна; ты знаешь больше, но молчишь; ты слышишь всех, но притворяешься глухой.

Ольга Петровна вернула тетрадь через два дня, и на полях красной ручкой было написано: «Невнимательность! – 4». Таня спрятала тетрадь в рюкзак и подумала строчку, которая потом, вечером, ляжет в блокнот: *«Единственный человек, который ставит себе тройки, чтобы не получить пять. Цирк наоборот. Акробат, притворяющийся зрителем»*.

За ужином Дима поднял бровь, когда Таня сообщила про четвёрку.

– Доказательная база, – сказал он, и это звучало как вопрос без вопросительного знака.

– Перенесла минус, – ответила Таня, накалывая на вилку пельмень с преувеличенной тщательностью.

– Специально?

Таня посмотрела на отца. Он знал. Она знала, что он знал. Знание гудело между ними, как провод под напряжением, – не опасно, просто ощутимо.

– Серая мышка, – сказала она. – Первое правило.

Дима кивнул – медленно, тяжело, кивком человека, который одобряет решение и одновременно ненавидит причину, по которой оно необходимо. Катя, не поднимая глаз от тарелки, произнесла:

– Нормальным языком: ты намеренно ошиблась, чтобы не привлекать внимание. Так?

– Так.

– Четвёрка – нормальная оценка, – сказала Катя, и в её голосе было что-то, что не считалось ни даром, ни интуицией – только опытом матери, которая двенадцать лет наблюдает, как её дети прячут лучшее в себе, и каждый раз решает, стоит ли об этом говорить. – Четвёрка – отличная оценка. Просто... иногда мне хочется, чтобы вы получали свои пятёрки. По-настоящему.

Таня фыркнула, не поднимая глаз от пельменя, и Тая уже открыла рот, чтобы что-то сказать, но Таня опередила её:

– Тай, ну ты хоть предупреждай.

– Если бы я предупреждала, это было бы не видение, а расписание.

– Расписание у нас и так есть. Только по нему живёт не мир, а наши нервные клетки.

– Зато теперь знаем, что у тополей тоже есть чувство юмора.

– Это ты про сломанную ветку?

– Ага. Пожила, подумала и отвалилась.

– Очень в твоём стиле всё обосновывать.

– Я не обосновываю. Я фиксирую.

– Как папа?

– Как папа. Только без тетради, и это, если честно, досадный пробел.

– Меня сейчас устроило бы любое дерево, которое не падает в ближайшие трое суток.

– Тогда держись подальше от фантазии, она у меня пока без тормозов.

– Повезло тебе. Я их иногда забываю прятать.

Тая, через стол, подняла мизинец. Таня ответила тем же. Катя этого не видела – или видела, но решила не замечать, потому что замечать всё в этой семье было привилегией, которую она сознательно уступала тем, кому замечать было не по выбору.

* * *

Алёна Волкова не вела список в блокноте. Пока.

Она вела его в голове, и этот список был похож на стенгазету, которую вывешивают в школьном коридоре перед праздником: пёстрый, разрозненный, с вырезками из разных слушаев, склеенных не логикой, а ощущением, что все они – части одной картины, которую она пока не умеет собрать.

Пункт первый: Тая никогда не попадала под «неожиданную» контрольную – всегда была готова. Совпадение? Возможно. Отличницы бывают. Но Тая не была зубрилкой: она читала Коэльо на уроках, рисовала на полях тетрадей и явно не тратила вечера на повторение теорем.

Пункт второй: Таня угадывала звонящего, не глядя на экран Nokia. Каждый раз. Без исключений. «У меня на разных номерах разные вибрации», – объясняла Таня, и объяснение было правдоподобным, если не задумываться о том, что на их Nokia 3310 вибрация была одна – монотонная, как зубная бор-машина.

Пункт третий: экскурсия в Третьяковскую. Мастер Фёдор. Тысяча четыреста семьдесят второй. «Нестеренко, приложение, мелким шрифтом». Алёна не поленилась – вечером, дома, набрала в поисковике Яндекса «Нестеренко Иконостасы Северо-Восточной Руси». Три результата: две библиографических ссылки в базе данных Российской государственной библиотеки и одно упоминание в каталоге букинистического магазина в Воронеже. Полный текст – нигде. Тая была права: никто не поедет в библиотеку ради одной детали. Но Алёна запомнила, что Тая это знала – знала, что не проверят, знала заранее, и была спокойна, как шахматист, который просчитал партию на пять ходов вперёд.

Пункт четвёртый – и этот пункт был свежим, вчерашним, ещё тёплым: обе сестры реагировали на события за долю секунды до того, как те происходили. На физкультуре Таня отклонилась от мяча, который прилетел из-за спины, – отклонилась за мгновение до удара, плавно и точно, словно видела затылком. «Рефлексы», – сказала Таня. На перемене Тая встала и отошла от подоконника за секунду до того, как створка, плохо закреплённая, распахнулась от порыва ветра. «Сквозняк почувствовала», – сказала Тая. Объяснения были безупречны. Но Алёна чувствовала то, что чувствует каждый хороший наблюдатель: не дыру в логике, а ритм. Слишком много совпадений. Слишком плавно. Слишком вовремя.

Она сидела в школьном буфете, в углу, с пластиковым стаканчиком чая – сорок копеек, кипятков и пакетик, – и смотрела на сестёр через три столика, и думала о том, что хорошая дружба – это когда ты принимаешь человека целиком, включая то, что он прячет. Но хорошая дружба – это и когда ты замечаешь, что он прячет, и не делаешь вид, что нет.

Колпачок новой ручки – третий за месяц – уже был надкусан.

Однажды Алёна спросила Таню в лоб. На перемене, у подоконника второго этажа, где стояли горшки с засохшим хлорофитумом и пахло мелом.

– Ты что, мысли читаешь?

Она спросила так, словно сама не верила в свой вопрос и одновременно боялась, что поверит, – с лёгким смешком, с прищуром, с интонацией «я шучу, но если ты вдруг ответишь серьёзно – я готова».

Таня рассмеялась. Смех был отрепетированным – лёгким, небрежным, из тех, что звучат на автомате, потому что были придуманы именно для таких моментов: не слишком весёлым, чтобы не выглядеть нервным, не слишком тихим, чтобы не выглядеть уклончивым.

– Если бы я читала мысли, – сказала Таня, – я бы уже выиграла лотерею и жила бы на Мальдивах. А не сидела тут, в школе, с четвёркой по алгебре.

Алёна засмеялась в ответ. Искренне, тепло – так смеются над хорошей шуткой. Но в глазах – тех самых глазах, которые замечали сломанные колпачки и несуществующих Нестеренко, – вопрос остался. Вопрос не уходил. Вопрос ждал.

И Таня, которая слышала чужие мысли, как радио, – слышала и этот вопрос: не словами, а ощущением, похожим на щекотку в затылке, которая не прекращается, пока не обернёшься.

Не моя тема, – подумала Таня и натянула скафандр потуже, так, что Алёнины мысли стали тише, но не исчезли. Некоторые вопросы слишком важны, чтобы их заглушить, и слишком опасны, чтобы на них ответить.

* * *



Тая рисовала на полях. Это не было сознательным действием – рука двигалась сама, пока Валентина Игоревна, учительница литературы, рассказывала о Фамусове и фамусовском обществе с таким презрением, словно Фамусов лично задолжал ей денег. Тая сидела у окна, за второй партой, и её ручка выводила на полях тетради линии, которые складывались в картинку: школьный двор, ограда, тополь, – и верхняя ветка тополя была сломана, свисала вниз, как рука, потерявшая силу.

Тая посмотрела на рисунок. Потом – в окно. Тополь во дворе стоял целый, крепкий, с ветками, покрытыми последними жёлтыми листьями, которые ветер ещё не успел оборвать. Верхняя ветка – на месте.

Привычный холодок прошёл по рёбрам, от подмышек к бёдрам, – не страх, а предчувствие, тихое и точное, как стрелка компаса, указывающая на север. Тая аккуратно вырвала лист из тетради – без звука, одним отработанным движением, – сложила вчетверо и бросила

в мусорную корзину у двери, проходя мимо после звонка. Не оставлять следов. Привычка, встроенная глубже, чем таблица умножения.

Алёна шла следом. Тая не видела – но знала, потому что научилась замечать Алёнин взгляд спиной, как Таня замечала чужие мысли: не глазами, а тем чувством, которому нет названия в школьных учебниках.

После урока, когда класс опустел и остались только стулья, поставленные на парты ножками вверх, как сдавшийся город, Алёна вернулась в кабинет. Достала из мусорной корзины скомканный лист. Разгладила на парте – ладонью, аккуратно, как разглаживают карту перед путешествием. Школьный двор – узнаваемый. Тополь – со сломанной веткой. Алёна посмотрела в окно: нет, целый. Ветка на месте.

Она убрала рисунок в карман куртки и ничего не сказала – ни Тая, ни Тане, ни кому-либо ещё. Что тут скажешь? «Тая нарисовала сломанное дерево, которое не сломано»? Это звучало бы нелепо. Это звучало бы как начало той самой фразы, после которой люди смотрят на тебя с жалостью и советуют меньше читать фантастику.

Через два дня – ветер. Не ураган, не буря – просто ветер, сильный, ноябрьский, из тех, что срывают шапки и переворачивают мусорные баки. На большой перемене, когда класс гудел, как трансформаторная будка, за окном раздался треск – глухой, протяжный, как выдох старого великана. Тополь потерял верхнюю ветку. Она свисала вниз, качаясь на волокнах коры, – точно так, как на рисунке. Точно так. До детали.

Алёна стояла у окна. Её рука была в кармане, пальцы сжимали сложенный лист. Она смотрела на ветку, на двор, на рисунок у себя в голове – потому что она помнила его линия в линию, – и молчала.

Вечером дома она достала рисунок, расправила на столе, положила рядом с тетрадью по математике и долго смотрела, подперев щеку кулаком. Потом убрала его – не в мусорку, а в ящик стола, к старым открыткам и фотографиям с летнего лагеря. Туда, где хранят вещи, которые не можешь объяснить, но не хочешь выбросить.

* * *

Вечером Тая сидела над учебником биологии. Глава о зрительном восприятии: палочки и колбочки, фоторецепторы, спектр видимого света. На странице – диаграмма: семь полос, от красного к фиолетовому, и каждая полоса имела длину волны в нанометрах, и каждая длина волны была частотой, и каждая частота – цветом, и за фиолетовым – ультрафиолет, который человеческий глаз не видит, но который существует, и за красным – инфракрасный, который тоже существует, и тоже невидим.

Тая смотрела на диаграмму и думала об Антоне Берёзове.

Мальчик из тольяттинской школы, который видел цветные облака вокруг людей. Ауры – если называть вещи взрослыми словами, которые Тая не любила, потому что взрослые слова часто убивали то, что пытались описать. Антон видел цвета, которых не было на этой диаграмме, и рисовал их в тетрадках – круги, овалы, светящиеся контуры, – и улыбался так редко, что каждая улыбка казалась событием, которое нужно запомнить, как дату в учебнике.

Где он теперь? Родители увезли его – далеко, в другой город, может быть, в другую страну. Увезли от «странного», от тех, кто задавал вопросы, от тех, кто мог заметить. Научился ли Антон прятать? Научился ли не видеть – или хотя бы делать вид, что не видит? Или родители нашли врача, который прописал таблетки, и таблетки приглушили цвета, и мир стал чёрно-белым, и Антон стал «нормальным», и «нормальным» – это значит «как все», а «как все» – это значит «незаметным», а «незаметным» – это значит «в безопасности»?

Тая не знала. Для ясновидения нужна точка привязки – предмет, место, лицо. А у неё не было ничего Антонова: ни вещи, ни фотографии, ни адреса. Только воспоминание: сутулый мальчик, тонкая шея, глаза, которые видели больше, чем могли вместить.

Может быть, однажды, – подумала Тая и перевернула страницу. За окном – ноябрьская темнота, фонарь раскачивается на ветру, и в его свете кружатся последние снежинки первого снега – белые, маленькие, каждая – со своей частотой, со своей длиной волны, невидимой глазу.

* * *

Поздний ноябрь, первый настоящий снег.

Таня возвращалась из школы одна – Тая задержалась на факультативе по обществознанию, где учитель Пётр Степанович, плотный мужчина с усами и привычкой вставлять в речь слово «парадигма» при каждом удобном случае, рассказывал о чём-то, что Тае было интересно, а Тане – нет, потому что мысли Петра Степановича были значительно интереснее его лекций: в голове он думал о рыбалке, о новом спиннинге за две тысячи рублей и о том, как жена отреагирует на счёт из рыболовного магазина.

Москва лежала в белом, как город после операции: контуры зданий – резкие, чистые, деревья – голые, с ветками, обведёнными снегом, как карандашом, фонари горели жёлтыми кругами, и в этих кругах снежная пыль кружилась медленно и бесцельно, как мысли перед сном. Тротуар был пуст – пять вечера, сумерки, люди попрятались от холода и раннего вечера, и только следы на снегу говорили о том, что здесь кто-то был: чьи-то ботинки, чьи-то сапоги, собачьи лапы, детские валенки.

Таня шла и вдруг поняла, что не слышит.

Не в обычном смысле – звуки были на месте: скрип снега, далёкий гул машин с бульвара, лязг трамвая за два квартала. Но другие звуки – те, внутренние, которые составляли фон её жизни с того момента, как она себя помнила, – исчезли. Ни одной чужой мысли. Ни обрывка. Ни шёпота. Ни крика. Ни усталого бормотания о пробках и молоке. Тишина.

Она остановилась посреди тротуара, как останавливаются перед витриной с чем-то невероятно красивым: не для того чтобы войти и купить, а для того чтобы постоять и запомнить. Снежинки ложились на ресницы – мокрые, крошечные, невесомые. Таня закрыла глаза и дышала – медленно, глубоко, так, как учил отец: вдох на четыре счёта, выдох на шесть, – и слушала тишину, которая была не отсутствием звука, а присутствием чего-то другого. Свободы, может быть. Или одиночества, которое не болело.

Одна минута. Две. Три. Снег ложился на плечи, на шапку, на рукава куртки, и Таня стояла неподвижно, боясь пошевелиться, боясь спугнуть, – потому что тишина для неё была тем, чем для других является музыка: редкой, ценной, существующей только в определённых условиях, как северное сияние или затмение солнца. Условия были просты: никого рядом. Никого на двести метров в каждую сторону. Снег, темнота, пустой тротуар и город, который в эту секунду забыл о ней, как она – о нём.

Потом из-за угла появился прохожий – мужчина в тёмной куртке, с пакетом из продуктового, – и в Танину голову, как камень в озеро, обрушилось его усталое, повседневное, ленивое: *«...опять эти пробки, и молоко забыл, Ленка убьёт, хотя нет, вот же молоко, ладно, а хлеб? хлеб купил? да, купил, и батон, и чёрный, Ленка любит бородинский...»*

Тишина разбилась, как стеклянный шар, и осколки её разлетелись, и собрать их было нельзя, и Таня вздохнула – не разочарованно, а с тем спокойным принятием, которому она учила себя каждый день: мир такой, какой есть, и он не замолчит ради тебя, и ты не оглохнешь ради него, и между этими двумя фактами – вся твоя жизнь.

Она надела наушники. В плеере – Земфира, «Бесконечность», и голос лёг поверх чужих мыслей, как снег ложится поверх грязи: не убирая, но скрывая, делая мир чище на вид, если не по существу.

Таня пошла домой, и её следы на снегу были единственными свежими следами на этом тротуаре, и через час их заметёт, и никто не узнает, что здесь стоял человек, который три минуты слышал тишину. Она запомнит эти три минуты. Как доказательство того, что тишина существует. Просто – не для неё.

В блокнот вечером лягут строчки: *«Тишина – не молчание мира, а его подарок: хрупкий, как первый снег, и такой же короткий».*

* * *

Кухонный стол был завален тетрадами, Катиным ноутбуком – массивным, серым, Compaq, похожим на маленький чемодан, – и коробкой с пирожками, которые Катя купила по дороге с работы в пекарне у метро: с капустой, с мясом, с яблоком, и все – тёплые, пахнущие тестом и вчерашним уютом. Дима сидел во главе стола, стул отодвинут, ноги скрещены – поза, в которой он вёл семейные «разборы полётов» с тех пор, как девочкам исполнилось десять.

– Что именно ты сказала? – спросил он, и вопрос был мягким, без обвинения, но с той точностью, с которой хирург спрашивает медсестру, какой скальпель она подала.

– Только имя и год, – ответила Тая, сидя напротив, руки сложены на коленях. – И заказчика. Больше ничего.

– Свидетели?

– Весь класс. Тридцать человек. Но слышали, думаю, от силы пятеро – остальные были заняты телефонами. Экскурсовод – слышала, но приняла объяснение.

– Алёна? – спросил Дима.

– Алёна слышала, – вставила Таня, которая сидела на подоконнике, обхватив колени, спиной к стикеру «Мы обычная семья». – И не только слышала. Она думала потом. Я не подслушивала, – быстро добавила она, поймав Катин взгляд, – она думала громко. Что-то про «опять» и «рисунок» и «откуда она знает».

– Рисунок? – Катя подняла голову от ноутбука.

Тая и Таня переглянулись – быстрый обмен взглядами, в котором уместился целый разговор: *знаешь? знаю. рассказываем? придётся.*

– Я нарисовала на полях тополь из школьного двора, – сказала Тая ровно. – Со сломанной веткой. Ветка сломалась через два дня. Я выбросила рисунок, но Алёна его достала.

Катя закрыла ноутбук – медленно, с тем деловитым спокойствием, которое появлялось у неё в моменты, когда хотелось кричать, но крик был бы непродуктивен. Она поставила чайник. Щелчок кнопки, нарастающий гул – звуки, которые в этой семье означали: сейчас мы будем решать проблему, и начнём с кипятка.

– В интернете источник есть? – Катя вернулась к столу.

– Нестеренко – вымышленный, – Тая повторила то, что говорила Тане в автобусе. – Но формально непроверяемый. Три результата в Яндексe, все без полного текста.

– Значит, держит, – сказал Дима. – Пока. Но в следующий раз – перчатки. Настоящие перчатки, не карманы. И на экскурсиях – руки всегда закрыты.

– В музей – в перчатках? – Тая подняла бровь. – Осенью?

– Скажешь, что мёрзнут руки. Скажешь, что плохое кровообращение. Скажешь, что это стиль, – Дима не улыбнулся, но в его глазах мелькнуло что-то, похожее на горькую иронию: отец, который учит дочь врать, чтобы защитить её от правды. – Главное – не касаться. Ничего. Никогда. Без защиты.

Тая кивнула. Перчатки. Ещё одна деталь в костюме серой мышки. Ещё один слой между собой и миром.

– Суд удаляется на совещание, – Дима встал и направился в кабинет, но Катя остановила его:

– Подожди. Алёна. Она – угроза?

Дима обернулся. Слово «угроза» повисло в кухне, как запах подгоревшего, – не сразу, но отчётливо.

– Алёна – подруга, – сказала Тая, и голос её стал жёстче, чем обычно. – Она не угроза. Она просто наблюдательная. Это разные вещи.

– Она верная, – добавила Таня. – Она прикрывает нас, когда нужно. Просто...

– Просто у неё глаза, – закончил Дима. – Глаза, которые видят. Нет, Катя, она не угроза. Пока. Но «пока» – слово с ограниченным сроком годности.

Он вышел. Катя осталась за столом, разливая чай по кружкам – его, белая, из «Ашана»; своя – «Лучшей маме на свете»; Таина – мятного цвета, в тон новым обоям; Танина – тёмно-синяя, с трещиной на ручке, полученной при переезде и не починенной из принципа, потому что трещина придавала кружке «характер».

– Мы обычная семья, – сказала Катя, расставляя кружки. Фраза прозвучала тихо – не как заклинание, не как констатация, а как молитва, в которую молящийся уже не совсем верит, но продолжает повторять, потому что что-то же нужно повторять.

Тая подошла к маме, обняла её сзади – молча, крепко, уткнувшись лбом в мамино плечо.

– Мы знаем, мам, – сказала она.

Катя накрыла её руки своими. Постояла так – секунду, две, – и вернулась к чаю. Таня, с подоконника, послала маме мысль – не словами, а образом: тёплый свет, запах пирожков, кухня, все вместе. Катя, конечно, не могла её принять – для этого нужен был дар, которого у неё не было и не будет, – но почему-то в этот момент она улыбнулась и сказала:

– Ешьте пирожки, пока горячие. Вот с яблоком особенно удались.

И обе дочери знали: мама не услышала мысль. Мама просто была мамой. И этого было достаточно.

* * *

На следующей неделе Тая пришла в школу в тонких чёрных перчатках – трикотажных, простых, из тех, что продавались в любом переходе метро за сто рублей. Она носила их весь день: на уроках, в столовой, на перемене. Снимала только для письма – аккуратно, одну за другой, складывала рядом с тетрадью, а после урока надевала снова.

– Это что, стиль? – спросила Алёна, когда они сидели в столовой над тарелками с серой кашей, которую школьный повар готовила с таким равнодушием, что каша, казалось, тоже испытывала к себе равнодушие.

– Плохое кровообращение, – ответила Тая. – Врач сказал – носить.

Алёна посмотрела на неё поверх тарелки, прищурилась и принялась грызть колпачок ручки.

– Ты опять в перчатках.

– Да. У меня с руками сложные отношения.

– Они тебя чем-то обидели?

– В последнее время – да. Я им не доверяю.

– Ты сейчас шутишь или нет?

– Я умею делать это одновременно, ты забыла?

– Не забыла. Просто у тебя обычно шутка получается слишком честная.

– А у тебя вопросы слишком точные.

– Это комплимент?

– Это предупреждение.

– О чём?

– О том, что если я сниму перчатки, разговор станет длиннее.

– А мне, может, и надо, чтобы он стал длиннее.

– Тогда тебе придётся пережить ещё и мой характер.

Тая откусила кусок хлеба с тем спокойствием, которое было Диминой школой: не слишком быстрый ответ – подозрительно; не слишком медленный – неуверенно; ровный, естественный, как вдох. Алёна кивнула, но ручку изо рта не убрала. Она не стала спрашивать дальше, потому что границу между дружбой и допросом чувствовала так же остро, как Тая – границу между знанием и молчанием. Они доели кашу в молчании, и это молчание было тёплым, привычным, как старый плед, – но с дыркой посередине, через которую сквозило.

Таня, проходя мимо с подносом, мельком коснулась плеча Таи и показала два пальца к губам – *потом*. Тая чуть кивнула.

«Потом» наступило на большой перемене, у окна третьего этажа, где никого не было, кроме голубей на карнизе и пыльного фикуса в кадке.

– Алёна думает о перчатках, – сказала Тая, привалившись к подоконнику. – Не то чтобы громко, но настойчиво. Как песня, которая застряла в голове. «Зачем перчатки, зачем перчатки, с каких пор у неё плохое кровообращение, а в сентябре было нормальное...»

– Я знаю, – Тая смотрела в окно, на двор, на тополь с обломанной веткой, – культа торчала, чуть светлее ствола, как свежая рана. – Но перчатки – необходимость. Папа прав. После Третьяковской...

– После Третьяковской ты стала осторожнее. Но Алёна стала внимательнее. Это как гонка вооружений.

– Чтоб умно поступать – одного ума мало, – сказала Тая, и Достоевский в её голосе прозвучал не как цитата, а как диагноз.

– Ты не можешь носить перчатки вечно, – Тая смотрела на голубей, которые дрались за крошку на карнизе с самоотверженностью, достойной лучшего применения.

– Могу. Но это будет выглядеть странно. А странно – это заметно. А заметно – это против первого правила.

– Тогда что?

Тая помолчала. За стеной кто-то играл полифоническую мелодию «Бригады» на Nokia – звук, ставший саундтреком поколения, как для предыдущего поколения были звуки дискового телефона.

– Контроль, – сказала Тая наконец. – Тренировка. Папа строил эту стену тридцать лет. Мне – пятнадцать. Значит, фора у меня есть.

– Или пятнадцать лет отставания, – улыбнулась Тая.

Тая показала мизинец вбок. Тая ответила тем же. Обе рассмеялись – тихо, носом, тем смехом, который возможен только между людьми, которые знают друг друга так глубоко, что смешное и страшное для них – одно и то же.

* * *

Дом затихал слоями.

Сначала – звуки кухни: шум воды, звяканье посуды, голос Кати, тихо напевающей что-то немелодичное, но утешительное. Потом – коридор: шорох Таниных шагов в ванную, щёлчок двери, гудение водопроводных труб. Затем – детские: скрип кровати, шелест одеяла, тихий голос Земфиры из наушников – *«мне не больно...»* – который стихал, потому что Тая засыпала. Потом – спальня: Катин вздох, шуршание страниц, щелчок лампы. И наконец – тишина, полная, ночная, московская, состоящая из далёких машин, случайных собак и гула города, который никогда не спит до конца.

Дима сидел в кабинете, за столом, в круге света настольной лампы – единственном островке бодрствования в спящей квартире. Перед ним лежала зелёная тетрадь – раскрытая, с примятым корешком, с пятном от кофе на обложке, похожим на карту несуществующего острова. Ручка – синяя, шариковая, та самая, из тех, что пачкают пальцы, – ждала в правой руке.

Запись была короткой, как все записи Димы: факт, оценка, вывод. Протокол, а не дневник. Хроника, а не исповедь.

«24.11.2003. Инцидент в Третьяковской – серьёзный. Т-1 (Тая): произвольный отклик на артефакт XV века, вербализация данных при посторонних. Контроль хуже, чем казалось: физическая близость к историческим объектам вызывает пробой стены. Введены перчатки. Необходимы систематические тренировки контроля. Т-2 (Тая): „четвёрка“ – намеренная ошибка для маскировки. Адекватная реакция. Скафандр стабилен, но подростковая среда – повышенная нагрузка. Подруга А. (Волкова) – наблюдательна. Подобрала рисунок Т-1 с дере-

вом. *Корреляция с событием через 48 часов. Пока не опасна. Но „пока“ – слово с ограниченным сроком годности».*

Дима поставил точку и закрыл тетрадь. Положил ручку рядом. Сидел, слушая тишину – не ушами, а тем, что было глубже ушей, тем органом, который чувствовал мир не как набор звуков, а как поле, в котором каждый человек был точкой, и расстояние между точками можно было измерить не метрами, а степенью угрозы.

Из детской – тишина: обе спали. Тая – с книгой на подушке, тонкий карманный блокнот под ней, как под подушкой кладут молочный зуб для феи. Таня – с наушниками, из которых тянулся провод к CD-плееру на тумбочке, и в тишине ночи, если прислушаться, можно было разобрать еле слышное: «...бесконечность, бесконечность, бесконечность...»

Дверь между комнатами сестёр – приоткрыта. Как всегда. С тольяттинских времён. Щель шириной в шёпот, в ночной вопрос, в протянутую руку через темноту.

Из спальни – ровное дыхание Кати. На кухне тикали часы – маленькие, настенные, купленные в «Ашане» вместе с кружками, с белым циферблатом и римскими цифрами, придававшими им вид солидности, которой они не заслуживали. На подоконнике, если пройти в кухню и присмотреться, – стикер Катиним почерком: «Мы обычная семья». Он был здесь давно, с самого переезда в новую квартиру, перенесённый с бутовского подоконника с бережностью реставратора. Бумага пожелтела, один угол загнулся, но стикер держался – упрямый, как всё, что Катя приносила в этот дом.

Дима выключил лампу и посидел в темноте, которую любил за честность: в темноте не нужно притворяться зрячим.

Сколько ещё?

Он думал не даром – просто, по-человечески, как отец, который лежит ночью без сна и считает не овец, а опасности. Сколько ещё инцидентов, прежде чем маскировка треснет? Сколько ещё умных подруг, прежде чем одна из них не поверит в «реферат по источникам шестнадцатого века»? Сколько ещё мониторинга Крюкова, прежде чем «кот» перестанет тереться о ногу и покажет когти?

Знание дало ответ – но расплывчатый, как тень на стене: контуры были, деталей не было. Что-то впереди – не плохое и не хорошее, а другое. Другая жизнь. Другое место. Другой берег, до которого ещё плыть и плыть, и воды между берегами – больше, чем кажется с суши. Но до другого берега – ещё несколько лет.

Дима закрыл глаза. За окном Москва тихо заметала снегом следы всех, кто сегодня ходил по школьным коридорам в перчатках, грыз колпачки ручек, слушал чужие мысли и рисовал на полях тетрадей деревья, которые ещё не сломались.

Снег шёл всю ночь – ровный, плотный, терпеливый. К утру тротуары стали белыми, и следы вчерашнего дня исчезли, и город выглядел новым, чистым, невинным, как будто ничего не произошло. Но рисунок со сломанным тополем лежал в ящике Алёниного стола. И колпачок ручки был надкусан. И перчатки Таи висели на крючке у входной двери – чёрные, тонкие, рядом с курткой и шарфом, как часть костюма, который приходится надевать каждый день.

Обычные перчатки обычной девочки из обычной семьи. Если не присматриваться.

Глава 4. Сердце не спрашивает

Если вы хотите, чтобы другие были счастливы – практикуйте сострадание. Если вы хотите быть счастливыми – практикуйте сострадание.



Он появился не вдруг – постепенно, как нарастает мелодия в наушниках, пока палец ещё ищет на колёсике громкости нужную отметку.

Максим Ковалёв сидел через три ряда на школьном собрании, посвящённом подготовке к олимпиаде по истории, и Тая заметила его раньше, чем хотела бы признать: чуть небрежная чёлка, широкие плечи под школьным пиджаком, привычка откидываться на стуле так, словно стул был сделан именно под него, – и улыбка. Улыбка, которой хотелось ответить прежде, чем успеваешь понять, чему именно улыбаешься. Капитан школьной команды КВН, десятый класс, обаятельный, остроумный – из тех парней, чья улыбка работает как отмычка: открывает любые двери и любое настроение.

Тая отвела глаза. Руки – в карманах. Перчатки – на месте. Всё под контролем.

Но контроль не помогает от того, что происходит не в пальцах, а в груди – там, где нет ни стеклянной стены, ни протоколов серой мышки, ни правил, записанных и сожжённых двенадцать лет назад. Сердце не спрашивает разрешения, не читает инструкций. Сердце – единственная часть Таи, которая не умеет видеть будущее, и слава богу.

Первая записка – на полях тетради по истории, передана через Алёну (которая передала с выражением лица хирурга, ассистирующего на операции, исход которой ей уже известен): «Если Карл Великий был великим, то почему империя развалилась через поколение? КВН нужен историк. Ковалёв М.». Тая улыбнулась прежде, чем успела себя остановить, и ответила на обороте: «Потому что величие – это не наследственное заболевание. Голубева Т.».

Вторая записка – на следующий день: «Голубева, ты хочешь сказать, что талант нельзя передать по наследству? А Моцарт?» Тая ответила не задумываясь: «Моцарт – исключение. Правило – Сальери. Вольтер говорил: суди о человеке больше по его вопросам, чем по его ответам». Максим написал через перемену, мелким уверенным почерком: «Тогда суди обо мне по этому вопросу: ты свободна после школы в четверг?»

Она была свободна. Она знала, что будет свободна, ещё до того как прочитала записку, – знание пришло утром, тихое, тёплое, непрошеное, как весенний сквозняк из форточки. Но знать – не значит быть готовой. Тая убрала записку в карман, просидела весь урок физики с выражением сосредоточенного внимания, которое не имело к физике никакого отношения, и после звонка ответила: «Свободна».

Олимпиада по истории быстро стала предлогом. По вечерам они сидели в школьной библиотеке плечом к плечу за длинным столом, под жёлтым светом ламп с зелёными абажурами, среди пыльных подшивок «Вопросов истории» и стопок книг. Каждую Тая брала через рукав или перчатку, и, к счастью, Максим этого не замечал – он был слишком занят тем, чтобы выглядеть умным. Впрочем, выглядел он и правда умным: быстро, ярко, с той лёгкостью, которая либо даётся от природы, либо не даётся никогда.

Прогулки вдоль Яузы после школы: мост, блики на воде, которая в марте ещё помнила лёд и несла его осколки тёмными, блестящими льдинками, как битое зеркало. Запах тающего снега – сырой, земляной, с привкусом обещания, которое весна даёт каждый год и каждый год не выполняет до конца. Максим говорил, Тая слушала, и его голос ложился на шум воды и ветра так естественно, что иногда казалось: он – часть этого пейзажа, а не человек с чёлкой и улыбкой, которая слишком широка, чтобы быть совсем честной.

Тая старалась по-настоящему, изо всех сил, с тем странным отчаянием, с которым человек, умеющий плавать, пытается утонуть: не касаться его вещей, не смотреть слишком глубоко, не включать то, что включается само, – а просто быть. Просто шестнадцатилетней девочкой, которая идёт рядом с мальчиком вдоль реки и чувствует, как мартовский ветер забирается под шарф и как ускоряется сердце – не от страха, а от радости.

Две недели. Самые счастливые две недели её шестнадцати лет – и Тая знала это, ощущала всей кожей, но не позволяла себе заглянуть вперёд, потому что заглядывать вперёд означало увидеть, а увидеть означало потерять.

* * *

Утро субботы, середина марта. Кухня пахла тостами и кофе – Дима варил его в турке на медленном огне с тем терпением, с которым варил всё: дела, аргументы, жизнь. Катя нарежала сыр, Таня ковыряла ложкой йогурт и делала вид, что не слышит, о чём думает мама. А мама думала о сыре, который подорожал на тридцать рублей, и о том, что летние сандалии Тани уже малы, а денег на новые всё ещё нет, хотя Димины гонорары говорили обратное: Катя по привычке экономила, как экономят люди, выросшие в девяностые, – на уровне рефлекса, который не отменяется никаким балансом на счёте.

Тая спустилась в кухню, села за стол, налила себе чаю из заварника и сказала – ни к кому конкретно, а скорее к чашке:

– Есть только два способа прожить жизнь: первый – будто чудес не существует, второй – будто кругом одни чудеса.

Катя подняла бровь – одну, левую, с тем выражением, которое в семье Голубевых было чем-то вроде сейсмографа: если Катина бровь поднималась, значит, внутри что-то сдвинулось.

– Эйнштейн? – спросила Катя.

– Эйнштейн, – кивнула Тая.

– Ты влюбилась, – сказала Катя, и это было не вопросом, а констатацией, произнесённой с той спокойной безошибочностью, которая не требовала ни ясновидения, ни телепатии, ни яснознания – только материнских глаз, которые видят дочь насквозь, потому что вырастили её из клеточки.

Тая покраснела – и это было так непривычно, так непохоже на неё, что Таня за столом подавилась йогуртом, а Дима приподнял турку над огнём с выражением человека, которому сообщили новый, но не неожиданный факт.

– Доказательная база недостаточна, – сказала Тая.

Катя откинулась на спинку стула и уже смотрела на неё не как на школьницу, а как на человека, который внезапно решил прыгнуть в воду и ещё не понял, тепло там или нет.

– Максим, значит, – повторила она мягче.

– Да.

– Хорошее имя.

– Мам.

– Что? Я не про паспорт сейчас думаю.

Таня фыркнула в йогурт, а Дима, не поднимая глаз от турки, едва заметно усмехнулся.

– А про что? – спросила Тая.

– Про то, как ты на него смотришь, – Катя потянулась за кружкой, но не стала пить сразу. – У тебя лицо становится как у человека, который вот-вот решит прыгнуть в воду и надеется, что там тепло.

– Это очень точное и очень обидное сравнение.

– Я стараюсь.

– Я просто с ним разговариваю.

– Ага. И у тебя в этот момент взгляд такой, будто ты заранее ему всё простила.

– Я ничего не прощала.

– Вот именно. Ты влюбилась.

– Мам!

– Ну а что? Это не трагедия. В твоём возрасте трагедия – это когда йогурт закончился.

Таня закашлялась уже откровенно, прикрывая рот ладонью, и Дима наконец поставил турку на огонь, чтобы не расплескать кофе от смеха.

– Ты ужасна, – сказала Тая, но без настоящей обиды, скорее с тем растерянным восторгом, с которым смотрят на человека, который знает тебя лучше, чем ты хотел бы.

– Я мать. Мне по должности положено всё знать раньше тебя.

– Это *моё* лицо, – Катя положила нож и повернулась к дочери, – и я знаю, что на нём написано. Без всякого ясновидения.

Дима разлил кофе по чашкам – себе и Кате, – и не сказал ни слова, но его молчание было тёплым, как пар над туркой, и в этом молчании Тая услышала (не даром – просто дочерним чутьём) что-то вроде осторожной радости, смешанной с тревогой, как мёд – с лимоном.

– Как зовут? – спросила Катя.

– Максим, – ответила Тая, и имя, произнесённое вслух, на кухне, при родителях, стало вдруг тяжелее и реальнее, чем на записках и на прогулках, – как вещь, которую вынесли из тёмной комнаты на свет.

– Хороший мальчик? – Катя задала этот вопрос с интонацией, которая подразумевала совершенно определённый набор критериев: не курит, не хамит, учится, родители – приличные. Стандартный материнский фильтр, надёжный, как стиральная машина, и столь же лишённый мистики.

– Обаятельный, – сказала Тая. И добавила, помедлив: – Остроумный. Капитан КВНа.

– КВН – это хорошо, – кивнула Катя. – Значит, шутить умеет.

Значит, умеет нравиться, – подумала Тая, но не сказала, потому что эта мысль принадлежала не шестнадцатилетней девочке, влюблённой впервые, а той другой Тае, которая видела сквозь стены и касалась прошлого кончиками пальцев, – и эту Таю она старалась не выпускать на кухню по утрам.

Таня из-за стола подняла мизинец – едва заметно, у бедра. Тая ответила тем же. Обе знали, что ситуация смешная и грустная одновременно, и мизинец – самый точный способ это выразить: *смешно*, потому что ясновидящая влюбилась и боится заглянуть вперёд; *грустно*, потому что обе уже догадывались, чем это кончится, хотя ни одна не хотела угадывать.

* * *

Апрель пришёл с дождями – мелкими, частыми, пахнущими мокрым асфальтом и набухающими почками на тополях. Москва в апреле напоминала акварель, которую не дописали: размытые контуры зданий, растёкшиеся лужи, неопределённый свет, не то серый, не то серебристый, который не грел, но обещал, что однажды согреет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.